Е. ДАНЬКО

КИТАЙСКИЙ СЕКРЕТ

ДЕТГИЗ 1946

Е. ДАНЬКО

КИТАЙСКИЙ СЕКРЕТ

РИСУНКИ
Н. ЛАПШИНА

Государственное Издательство Детской Литературы
Министерства Просвещения РСФСР
Москва 1946 Ленинград

Отзывы об этой книге присылайте по адресу: Ленинград, Невский проспект, 28, Детгиз.

11707

НАУЧНАЯ БИБЛИОТЕКА
ДОМА ДЕТСКОЙ КНИГИ
ДЕТГИЗА

Глава первая

ЗАГАДКА

Взлая он дальние страны,
По суше, по морю носился,
Во дни былые, дни войны
На западе, на юге бился.
А. Пушкин.

ЯО

Девять веков тому назад с запада Европы двинулись полчища воинов на восток, за Средиземное море. Князья, монахи, рыцари, простолюдины присоединились к этому походу. Кто ехал верхом, кто — в телеге, кто ковылял пешком, вскинув на плечо самодельное копье.

По ночам у костров люди пели псалмы или рассказывали чудеса про богатую страну, которая ждала их за морем.

Страна звалась Палестиной. Ее нужно было завоевать.

Королям и князьям давно хотелось завладеть торговыми путями, ведшими на богатый Восток. Они были не прочь прибрать к рукам золото, серебро и драгоценные камни арабских халифов. Но под каким предлогом напасть им на арабов, которые не трогают далеких северных жителей?

Римский папа придумал предлог. В Палестине,

в иерусалимском храме, стоит гроб господень. Его нужно освободить из рук язычников.

На коней, рыцари!

Собирайте войско, украшайте знамена и латы знаком креста. Кто пойдет в поход, тому отпустятся грехи. Было объявлено, что рабы-крестьяне станут вольными людьми, если примкнут к походу. Тысячи крестьян ушли от своих господ освобождать далекий гроб господень.

Крестоносцы вторглись в Палестину и захватили Иерусалим.

Награбленные сокровища они отправили на кораблях в Европу.

Арабы заключили мир с крестоносцами.

У гроба господня стало нечего делать. Крестоносцы присматривались к чужой стране. Каждый день открывал им что-нибудь невиданное.

Язычники были, к удивлению европейцев, образованными людьми.

Они знали математику, астрономию, географию, медицину куда лучше, чем европейцы. Они чудесно ковали оружие, ткали шелка, выделывали краски и выращивали неведомые Европе плоды — абрикос, сливу и лимон.

Арабы торговали со всем миром.

В приморских городах, где сходились караваны из Персии, Афганистана и даже Китая, пестрые базары привлекали к себе крестоносцев.

В лавках, увешанных бухарскими коврами, суровые северные воины дивились яркости и блеску восточных товаров.

Купец, краснобородый перс или армянин с длинными глазами, показывал им кинжалы из Дамаска, страусовые перья из Каира, голубые и желтые персидские блюда и чаши и узорчатые индийские кальяны с тонкой шейкой, из которых толстые тюрки потягивали душистое куренье, сонно покачиваясь на подушках.

Еще немало было товаров — резная слоновая кость, бронзовые кувшины, золотые запястья с бирюзой и жемчугом, но больше всего дивились европейцы белой посуде, привезенной на верблюдах с другого края света — из далекого Китая, через пустыни, горы и огромные азиатские реки.

Эта посуда была белая, блестящая и звенела, как металл.

— Что это такое? — спрашивали европейцы, желая знать, из чего она сделана.

— Яо, — отвечал купец, — тинг-яо. — И он ставил на ковер белую чашку, тонкую, как яичная скорлупа. На ней была нарисована красная хвостатая птица.

— Че-яо.

И на ковре появлялась высокая ваза, расписанная цветами.

Потом торговец доставал откуда-то белые тарелки с голубыми драконами и пронзительно кричал:

— Кин-те-яо! На таких тарелках ест сам китайский богдыхан.

— Да из чего они сделаны? — допытывались европейцы.

— Яо, — повторял торговец, полузакрыв темные веки, и чашка, задетая длинным ногтем, чисто звенела: „я-а-о".

На тяжелых кораблях по морю, в дорожных сумках за седлом по суровым дорогам Европы везли рыцари домой эти хрупкие, белые и разрисованные вещицы. Не одна разбилась в пути.

В каменных замках, когда холодный ветер врывался в трубу и задувал пламя в очаге, вынимали рыцари белые, нежные черепки и, рассматривая их, вспоминали теплые восточные ночи, пряные запахи палестинских трав, пестрые лавки на базарах и непонятное слово „яо".

СЕЛАДОНЫ

Еще не раз вторгались европейцы в палестинские владения арабов. Вслед за рыцарями европейские купцы стали привозить в Европу китайскую посуду. Европа завязала торговлю с Азией. Моряки — португальцы и генуэзцы — ходили за восточными товарами на легких парусниках в Трапезунд и Александрию и привозили оттуда китайские чашки и тарелки, не только белые, но и светло-зеленые.

Пошел слух, что светлозеленая китайская посуда сразу темнеет, если на нее попадает яд. Светлозеленые сосуды в это время назывались в Европе „селадоны". Короли и князья наперебой старались заполучить себе „селадоны". Каждый из них боялся отравы.

Европа тогда была разделена на множество мелких королевств и княжеств.

Вся земля принадлежала князьям и баронам, иначе говоря — феодалам. Рабы-крестьяне кормили, поили, одевали своих господ, их слуг и целые дружины воинов.

Феодалы собирали подати с крестьян хлебом, медом, шерстью. Они одевались в домотканое платье, пили сваренное дома пиво и воевали друг с другом. Каждому хотелось захватить владения более слабого соседа. Каждый боялся, что сильный сосед отнимет у него землю. Время было тревожное: то восставали крестьяне, то возмущались города, отказываясь платить подати баронам.

Феодалы жили за крепкими стенами замков. Их охраняли верные дружинники. Но от яда, подсыпанного в пищу или питье, у них не было защиты.

Вот почему они так обрадовались китайской посуде, которая будто бы спасала от яда.

Один князь пригласил к себе другого на пир. Он завидовал богатству гостя и хотел его отравить. Кравчий должен был на пиру подсыпать яду в кубок приезжего князя.

Пир был в высокой каменной зале. Гости сидели на лавках, устланных мехами. На столе дымился целый кабан. Когда стали разливать вино из кованых серебряных кувшинов в кубки, приезжий князь вынул из кармана светлозеленую чашечку и, подставив ее под струю вина из наклоненного кравчим кувшина, сказал:

— Я пью только из этой чашечки, — она потемнеет сразу, если на нее попадет яд.

У хозяина волосы на голове зашевелились от страха. Драться с гостем, когда чашка потемнеет, у него не было охоты. Он подмигнул кравчему, чтобы тот отложил яд подальше.

Пир кончился благополучно. Когда гость уезжал, хозяин поклялся ему в вечной дружбе и выпросил у него зеленую чашечку „на память".

„Теперь и я тоже не буду бояться отравы", думал он.

Увы, чашечка не помогла. Его отравил тот же самый кравчий в отместку за жестокое обращение.

В те времена за столом никому не полагался отдельный прибор. Все ели из общей миски, прямо пальцами, а кубок с вином передавался по очереди от одного к другому. Бедняки ели из деревянных плошек, а те, кто побогаче, заводили себе оловянную или серебряную посуду.

Гончары умели делать глиняные миски и тарелки, покрывали их поливой и обжигали в печах, но эти миски из глины были грубые, тяжелые и шероховатые. Такой блестящей, звонкой и тонкой, как яичная скорлупа, посуды, какой была китайская, в Европе никто не умел делать.

Китайская посуда не спасала от яда — это были сказки, но от грязи и заразы она могла уберечь. Она была чище металлической и деревянной посуды. С ее гладкой, блестящей поверхности легко смывалась всякая грязь. Но этой посуды было так мало в Европе, что, кроме князей, боявшихся отравы, на ней никто

не ел. Ее берегли в сокровищницах вместе с драгоценностями. Ее оправляли в золото.

У королевы Изабеллы Католички хранился белый китайский стаканчик в сокровищнице Альказара. Его золотая оправа стоила больше, чем несколько испанских деревень.

Знатные дамы носили черепки разбитой китайской посуды на золотых цепочках вокруг шеи.

Когда какой-нибудь восточный владыка хотел сделать хороший подарок европейскому князю, его послы отвозили в Европу красивую китайскую посуду. Так, султан Абульсет Гамель послал двадцать китайских сосудов венецианскому дожу Малипьеро, а флорентийский правитель Лоренцо, прозванный Великолепным, получил от египетского султана такой же подарок. Китайская посуда так понравилась Лоренцо, что он призвал к себе итальянских гончаров и просил их сделать для него такую посуду. Но, сколько ни старались гончары, у них ничего не вышло.

ЯИЧНАЯ СКОРЛУПА И РАКУШКИ

Когда торговцев — индусов и персов — спрашивали, из чего сделана китайская посуда, они начинали молоть всякую ерунду. Одни говорили, что она из той самой глины, из которой будто бы сделаны солнце и луна. Другие, подняв руки к небу и закатив глаза, шептали, что эта посуда не только темнеет, но разлетается вдребезги, если на нее попадет яд. Кроме того, она приносит счастье и отгоняет злых духов. Много болтали торговцы, набивая цену на свой товар, а он и так ценился на вес золота.

В XIII веке венецианец Марко Поло поехал в Китай и прожил там двадцать шесть лет. Он привез с собой на родину много китайской посуды. Китайцы ему рассказывали, что они делают эту посуду из глины, которую находят в глубине земли. Эта глина лет сорок должна лежать на солнце и дожде, сначала мок-

нуть, потом сохнуть, потом ее опять закапывают в землю, а потом уже делают из нее посуду.

Марко Поло тоже называл китайскую посуду „яо", но, кроме того, он называл „яо" маленькие белые ракушки, которые привез из Китая. Эти ракушки ходили в Китае наравне с разменной монетой. Они были белые и блестящие, как китайская посуда.

В Италии, на морском берегу, тоже были такие белые ракушки. Их называли „порчелла", что значит „свинушка", потому что своей формой и цветом они напоминали поросят.

Тут уже все перепуталось в головах у европейцев. Кто-то решил, что китайская посуда делается из ракушек. Ее стали называть „порчеллан", „порцеллан" или „порселен". Так называют ее в Европе и сейчас, а мы называем ее „фарфор". Это слово пришло к нам с Востока, от торговцев — турок и персов. Они его употребляли, когда говорили о китайских товарах, и называли так китайскую посуду.

В Европе долго думали, что порселен делается из ракушек или из яичной скорлупы.

Триста лет прошло с тех пор, как Марко Поло ездил в Китай, а во Франции писатель Пансироль все еще писал так: „Этот порселен — не что иное, как масса, сделанная из яичной скорлупы и толченых ракушек. Китайцы составляют эту массу, размешивают ее, и потом глава семьи или старший в роде зарывает ее глубоко в землю, в потайное место. Смесь лежит в земле девяносто лет без воздуха и света, после чего наследники и правнуки закопавшего опять выкапывают ее и делают из нее драгоценные вазы, белые и такие прекрасные с виду, что ни один архитектор не найдет в них ошибки. Достоинства их тем более велики, что, если положить в них яд, они разбиваются вдребезги".

ИСКУССТВЕННЫЙ ПОРСЕЛЕН

Китайская посуда ценилась так дорого, что если бы какой-нибудь гончар в Европе научился ее делать, он сразу разбогател бы.

Гончары в Италии и Франции лезли из кожи, ста-

рясь сделать что-нибудь похожее на порселен. Они научились делать красивую глиняную посуду, покрывали ее белой поливой и поверх поливы расписывали красками. Но если она разбивалась, черепок в изломе был темноватый, а не белый, как у китайской посуды. Ведь белая полива накладывалась на глину только сверху, а внутри глина оставалась темноватой, серой или коричневой; черепок же порселена был белый насквозь. Глиняная посуда была тонкая и красивая; но далеко ей было до порселена. Она ничуть не просвечивала на свет, и краски на ней были не такие яркие. Называли ее фаянсовой.

Наконец в XVII веке французу Луи Потерá удалось, смешав песок, мел, селитру, соду, поваренную соль и квасцы, сделать массу, которая, после того как ее накалили в печи, стала похожа на порселен. Посуда из этой массы была белая и блестящая, как китайская.

Французы были очень довольны, важничали и хвалились этой посудой. Увы, она оказалась похожей на китайскую только по виду. Есть и пить из нее было очень неудобно. Поцарапаешь ее ножом — остается борозда; станешь пить из чашки — кусочки от края обламываются. Ее ставили под стекло и любовались ею издали. Эту посуду называли „искусственный" или „мягкий порселен".

А китайцы сидели в своем Китае и посылали в Европу чудесные блюда и вазы, одна другой лучше.

ПОЛК СОЛДАТ ЗА КИТАЙСКИЕ ВАЗЫ

Наступили новые времена. Генуэзец Колумб привел испанские корабли к новому материку — Америке. Мореход Васко да Гама проехал в Индию новым путем — по морям и океанам, мимо мыса Доброй Надежды.

В Европе разрасталась торговля. Ширились и богатели города. Корабли с новыми товарами входили в шумные порты. Товары текли по новым дорогам с одного края страны до другого.

Старый феодальный строй мешал росту торговли. Бывало везет купец товары в далекий порт. Подъезжает он ко владениям какого-нибудь барона. „Стой! Плати пошлину, а то не пропущу", говорит барон. Купец платит пошлину, едет дальше, а другой барон уже кричит ему из-за своей околицы: „Эй, поворачивай обратно! Я на свою землю купцов не пускаю".

Повернет купец обратно, объедет кругом владения сердитого барона, едет дальше... А дальше — два барона воюют, и каждый рад под шумок захватить себе купеческие товары.

„Тьфу! — думает купец. — Когда их угомон возьмет? Развелось столько баронов — хоть плачь. У каждого барона свои фантазии. Был бы один король — с одним-то мы поладили бы".

Торговые люди помогали деньгами королю, который воевал с феодалами, обещал сделать дороги свободными и защищать торговлю.

А деньги стали главной силой в стране. Пища, платье, домашняя утварь, лошади — все покупалось за деньги. У кого были деньги, тот был богат и силен. У него были и войска, и ружья, и пушки, и лучшие полководцы.

У феодалов денег не было. Ведь подати собирали они не деньгами, а хлебом, льном, шерстью. Торговать они не умели. Их дружинники ушли к тем, кто платил деньги. Стены замков рушились под обстрелом королевских пушек. Феодалы сдавались королю один за другим. Их время прошло.

Наступила пора королей — абсолютных монархов, пора дворян, которых король наградил остатками феодальных земель, пора денежных людей, державших в своих руках торговлю всего мира.

Португальцы и голландцы снаряжали корабли за

восточными товарами в Китай. Они привозили оттуда порселен, или фарфор, — китайскую посуду, белую и светлозеленую, блестящую, и красную, матовую, украшенную выпуклыми узорами. А фарфор полюбился европейцам теперь еще пуще, чем прежде.

Короли окружали себя блеском и роскошью. Они строили себе великолепные дворцы. В парках, среди золоченых статуй, били причудливые фонтаны. Фабрики делали роскошную мебель, узорные паркеты, парчу и шелка для королевских дворцов.

Дамы стали носить широченные юбки-роброны, на которые шли десятки аршин золототканых материй. Мужчины наряжались в расшитые шелками кафтаны, в бархат и кружева. Скоро завели моду носить высокие парики на головах, а на ногах — туфли с высокими каблуками. Каждый старался одеться как можно пышнее, ярче и неудобнее, чтобы казаться важным и красивым.

Но под роскошным платьем не всегда было чистое белье: кружевные воротники нередко прикрывали немытую шею, потому что тогда мытье было не очень-то в ходу.

Маленький Людовик, будущий французский король — „король-Солнце", как он потом себя называл, — спал в королевском дворце на дырявых простынях, под разлезшимся от ветхости одеялом.

В великолепных дворцах дуло изо всех щелей. Слуги ходили оборванные, как нищие. Случалось, что на несколько человек была всего одна пара сапог. Кто выходил к господам, тот и надевал сапоги.

Зато снаружи для показу всё должно было блестеть, шуршать шелками, искриться золотом. Пестрая, блестящая фарфоровая посуда как нельзя лучше подходила для украшения дворцов. А тут еще дворяне завели у себя восточный обычай пить чай и кофе. Сколько чашек, блюдечек, кофейников и чайников понадобилось им всем сразу!

Гончары выбивались из сил, чтобы

разгадать китайский секрет. Их фаянсовая посуда становилась все красивее, фаянсовые тарелки Руана, Дельфта и других фабрик ценились очень дорого. Но еще дороже ценился китайский фарфор.

Саксонский король Август Сильный отдал в обмен за несколько китайских ваз полк здоровенных драгун, все молодец к молодцу, прусскому королю Фридриху. „Полк драгун, но без мундиров, без лошадей и без оружия", — так и написано в старинном документе об этой сделке.

Вот до чего доходили короли в своей жадности к фарфору.

Глава вторая

ХИТРЫЙ МОНАХ

Кружится птица в вышине
И видит: город — весь в огне,
Там день и ночь пылают печи,
Их трубы тянутся, как свечи,
И освещают черный дым
Кровавым блеском огневым.

Г. Лонгфелло

ОТЕЦ Д'АНТРЕКОЛЛЬ

В те времена у монахов была большая власть. Каждый монах принадлежал к какому-нибудь ордену. В ордене были свои начальники — вроде генералов, и другие — вроде полковников. Простые монахи слушались их беспрекословно. Начальники умели натравить одного короля на другого и затеять войну, если это было им выгодно. Им всегда удавалось оттягать у крестьян лучшую землю для монахов своего ордена. Монастырские кладовые были наполнены золотом.

Орден иезуитов был самым богатым и могущественным из орденов. Орден иезуитов посылал своих монахов во все страны света. Лукавые монахи не только обращали язычников в свою веру, — они проникали всюду, выспрашивали, вынюхивали и доно-

сили своим начальникам обо всем, что видели. Монахи давно пробрались в Китай.

Другие европейцы, приезжавшие на высоких кораблях, — грубоватые моряки и жадные купцы — отпугивали от себя китайцев. Они носили громадные пистолеты у пояса, громыхали высокими сапогами и неистово ругались на своем языке, закупая у китайцев шелка и фарфоровую посуду.

Тихие речи ласковых монахов нравились вежливым китайцам куда больше. Их бритые головы, широкие рукава ряс, сандалии на ногах и обычай перебирать четки — делали их похожими на самих китайцев. Они не только превосходно говорили на китайском языке, но читали даже китайские книги.

„Сыны неба" — богдыханы — вели с ними ученые беседы и советовались в разных делах, но зорко следили, чтобы ученые „отцы" не шатались по Китаю без дела и не совали носа, куда не просят. Поэтому иезуитам не удавалось ничего узнать о секрете фарфора, а им очень этого хотелось. Наконец один из них — отец д'Антрекольль — добился позволения поехать в город Кин-те-чен, где были самые большие фарфоровые фабрики. Распростершись ниц перед богдыханом, он сделал „коу-тоу", то есть стукнулся лбом об пол, и благодарил богдыхана за милостивое позволение. Ему вручили большие пропускные грамоты с красными печатями на шелковых шнурках. Потом он сел на раскрашенный корабль с драконом на носу, шедший в Кин-те-чен за фарфором, и отправился вверх по широкой реке Ян-цзы, мимо рисовых полей, где сгибались китайцы в больших соломенных шляпах.

Это было в начале XVIII века, двести с лишком лет тому назад.

ГОРОД КИН-ТЕ-ЧЕН

Когда судно под вечер, после многодневного пути, обогнуло последний речной мыс, и в полукруге высоких гор глазам открылся город, отцу д'Антреколлю показалось, что он видит большой пожар или гигантскую печь с бесчисленными отдушинами, из которых вырывались огонь и дым.

Это пылали печи, где обжигался фарфор. Их было три тысячи. Город казался объятым пламенем.

„Вот почему, — писал потом иезуит в Париж, — китайцы везде ставят часовни в честь бога огня, но это не спасает город от частых пожаров".

Река была запружена судами, стоявшими в несколько рядов. Корабль, на котором ехал д'Антрекольль, с трудом пробирался к пристани.

На берегу толпились люди. Китайцы-носильщики бегали по сходням, нагружая фарфор на большие суда и принимая какой-то груз с маленьких парусных джонок.

Д'Антрекольль сошел на берег и нанял проводника, чтобы тот провел его к дому мандарина.

Над городом стоял дым от печей. Узкие улицы, прямые, как линейки, выходили в гавань. Каждая улица была длиной в тринадцать ли,[1] поэтому Кин-течен назывался также Ши-кан-ли, что значит город тринадцати ли.

По улицам сновали люди.

Торговцы с грохотом катили свои тележки.

Продавцы апельсинов старались перекричать пекарей, жаривших рисовые лепешки тут же на улице на маленьких жаровнях.

Толстые купцы покрикивали на носильщиков с тюками товаров.

Китайские дамы под зонтиками мелко семенили крохотными ножками в башмачках на толстых белых подошвах. Их высокие прически, украшенные цветами и бабочками, задевали за бумажные вывески, висевшие поперек улицы.

Ребятишки запускали бумажного змея в виде дракона. У них были бритые головы, только над ушами и на макушке пушистились хохолки волос, как черные мышки.

---

[1] Китайская ли равняется 400 метрам.

11707

Научная библиотека Дома детской книги ДЕТГИЗА

„Стоял такой шум и гам, что д'Антреколлю показалось, будто он попал на ярмарку.

Вдруг толпа расступилась, и стало тише. Прохожие отошли в стороны. Появился рабочий с двумя длинными досками на плечах. На узких досках лежали в ряд белые матовые чашки донышками кверху. Это токарь нес свой хрупкий товар в обжигательную печь. Все давали ему дорогу, зная, что если хоть одна чашка разобьется, ему придется платить за нее хозяину. Он шел, легко ступая ногами в соломенных сандалиях и чуть-чуть покачиваясь на ходу.

Д'Антрекольль загляделся на него и думал: „Рабочий следит за каждым своим движением и каждым шагом, чтобы не уронить посуду. Пожалуй, и мне придется быть таким же осторожным, выведывая секрет фарфора. Один неверный шаг может меня погубить".

— Пойдемте, — сказал ему проводник-китаец, — пойдемте, уже темнеет! Нам надо поспеть к дому мандарина, пока улицы еще не закрыты.

В сумерках над лавками торговцев уже зажигались фонари из бумаги и шелка. Их стенки светились красными и зелеными надписями.

Ведя д'Антрекольля по темнеющим улицам, проводник рассказал ему, что в Кин-те-чен не пускают никого из чужестранцев. Д'Антрекольль первый получил пропуск. Когда темнеет, все улицы запираются загородками-заставами. Караульные пропускают лишь тех прохожих, кто знает условный знак или тайное слово.

Всю ночь по городу ходят отряды полицейских. Они следят за тем, хорошо ли работают печи и не подглядывает ли какой-нибудь чужеземец, как делается фарфор.

Так разговаривая, они взошли на холм, где стоял дом мандарина. Над резной дверью важно покачивался большой бумажный фонарь, белый с синими звездами.

Раскосые глаза мандарина хитро посматривали на гостя, пока сам мандарин низко кланялся, подгибая коленки. На нем была круглая шапочка с золотым шариком на макушке. Кисть красного шелка свисала ему на ухо. Синий халат, расшитый золотыми драконами, был перехвачен на животе серебряным поясом. На поясе болтались веер, фарфоровая табакерочка и маленький кинжал в ножнах.

Едва д'Антрекольль пытался сказать хоть словечко, мандарин опять начинал кланяться. Наконец д'Антрекольль вынул свои грамоты и протянул их кланявшемуся мандарину.

Что тут сделалось с мандарином! Он бросился на пол ничком и стал стучать лбом о соломенные циновки. Красная кисточка упала ему на глаза, а коса извивалась на спине, как змея.

Наконец он встал и сказал:

— Тебя прислал великий дракон, сын неба, наш мудрый богдыхан. Да будет счастлив твой приход!

И он наговорил монаху сотню китайских любезностей и пожелал ему пять земных блаженств.

А эти пять блаженств были — тугой кошелек, крепкий сон, толстый живот, долгая жизнь и легкая смерть.

В углах комнаты в красивых фарфоровых вазах миндаль и яблони поднимали свои легкие ветки, усыпанные бело-розовыми цветами. На медном треножнике в очаге кипел чайник.

Мандарин налил чаю в голубые чашки без ручек и угощал гостя орехами с медом из зеленой вазы. Эти орехи были выкрашены красной краской — киноварью. У д'Антрекольля губы и зубы стали красными, как кирпич. Китайцы считали это красивым.

Вежливо и осторожно мандарин расспрашивал, что привело „посланца дракона" в их город.

Ногти на левой руке у мандарина были отращены

на два вершка. Он прятал их в золоченые бамбуковые наперстки.

Пока д'Антреколль говорил, мандарин то снимал наперстки и поглаживал свои зеленоватые ногти, то опять надевал их, а сам пытливо вглядывался в собеседника.

А монах разливался соловьем. Он приехал сюда посмотреть город, он пишет большую книгу о Китае, чтобы его братья европейцы узнали, какая это чудесная страна и какие в ней мудрые мандарины. Какой удивительный порядок в городе Кин-те-чене, как умно управляет им мандарин! (Про фарфор хитрец не вымолвил ни слова.)

От улыбок лицо мандарина расплылось в лепешку. Хитрые глазки превратились в щелочки. Ему захотелось, чтобы д'Антреколль написал про него что-нибудь хорошее в своей книжке. Начертив тушью на бумаге какие-то знаки, он велел слугам взять фонари и проводить гостя в дом, где он мог переночевать.

Опять начались поклоны, приседания, любезности. Д'Антреколль и слуги уже поворачивали в темный переулок, а мандарин все еще стоял под фонарем на пороге и кланялся. Потом он вошел в дом, надел плащ и, прицепив сбоку большой меч, пошел в ночной обход по городу с десятью полицейскими.

Д'Антреколль шел по пустым улицам. Огни печей пылали теперь еще ярче, потому что наступила ночь. В городе было таинственно и тихо, только у печей двигались темные фигуры мастеров.

ФАРФОРОВЫЕ ЧУДЕСА

Д'Антреколль поселился в доме старого китайца, хозяина нескольких парусных джонок. Монах бродил по городу и каждый день узнавал что-нибудь новое про фарфоровые фабрики.

В убогих хижинах рабочие жили впроголодь. Рис, заменяющий китайцам хлеб, стоил в Кин-те-чене дорого: его привозили издалека.

Когда д'Антреколль рассказал

рабочим, как высоко ценятся в Европе их фарфор, они ему не поверили.

Всю прибыль брали себе купцы, а рабочие получали жалкие гроши. Великолепные вазы, которыми восхищалась Европа, пышные и нарядные, украшенные золотом, были сделаны бедняками, полуголодными рабочими. Их прилежные пальцы делали чудеса из фарфора.

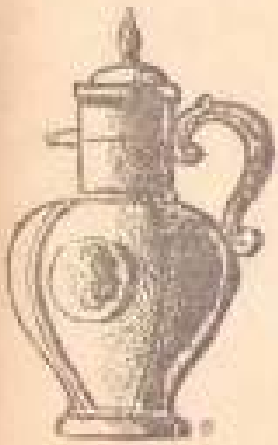
Двор богдыхана требовал каждый год:

31 000 блюд,
16 000 тарелок с синими драконами,
18 000 чашек с цветами и драконами,
11 200 блюд с написанными словами: „фу" — счастье — и „чеу" — долгая жизнь.

В приказах богдыхана по фабрикам говорилось, что посуда для двора должна быть голубая, как небо после дождя в промежутках между облаками, блестящая, как зеркало, тонкая, как бумага, звонкая, как гонг, гладкая и сияющая, как озеро в солнечный день.

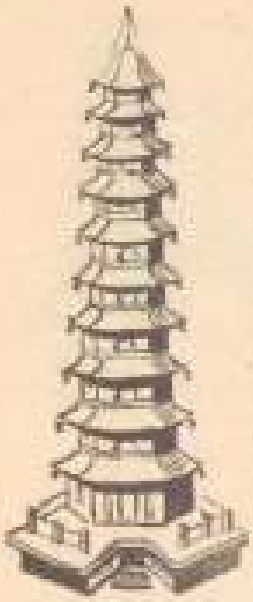
Все это исполняли фабрики Кин-те-чена.

Рабочие умели делать удивительные вещи: посуду белую, как цветы яблони, посуду лиловатую, как аметист, и еще — красную матовую посуду, похожую на коралл, всю в резных узорах. Они делали фонари, расписанные пурпурными пионами, которые чудесно светились, если внутри зажечь огонь. Другие фонари — в виде рыб и драконов с горящими глазами.



Д'Антрекольль видел там один фонарь — большую фарфоровую кошку с горящими глазами. Он рассказывал в письмах, что крысы боялись ее больше, чем живых кошек.

Еще там были коробочки с кружевными фарфоровыми стенками, в которые сажали пойманных бабочек. Были чашки, у которых



сквозь дырочки в первой — кружевной — стенке виднелась вторая — сплошная. На ней были нарисованы горы, дома и китаянки с корзинами цветов.

Из таких чашек можно было пить какой угодно горячий чай, не обжигая руки, потому что от кипятка нагревалась только внутренняя, сплошная стенка, а кружевная оставалась прохладной.

Некоторые чашки были с таким фокусом, что когда вы начинали пить, вода вдруг бурлила и брызгала вам в нос.

А однажды мандарин показал д'Антреколлю чудесную белую чашу. Когда в нее наливали воду, на ее стенках вдруг появлялись, словно выплывали, голубые рыбы. Выливали воду — чаша опять становилась белой.

Но больше всего славилась в Китае фарфоровая нанкинская башня. Ее девять этажей поднимались вверх на 80 метров. Стены были выложены белыми фарфоровыми плитками. Плитки у окон и дверей были желтые и зеленые. На них извивались выпуклые драконы. На острых выступах башни висели фарфоровые колокольчики. Их было восемьдесят штук. Они нежно звенели от дуновения ветра.[1]

ТРУДНЫЕ ЗАКАЗЫ

Но были вещи, которые даже китайские искусные мастера не могли сделать. Из фарфора можно было делать большие вазы и блюда, но плоские пластины гнулись и кривились в обжиге, если они были больше одного квадратного фута.

Богдыханы, как назло, заказывали такие пластины. То им нужны были фарфоровые плиты для облицовки дворцов, длиной в три, а шириной в два с полови-

[1] Этой башни теперь уже нет. Около 70 лет тому назад она была разрушена.

ной фута, то фарфоровые ящики, имевшие четыре фута в длину и два в высоту.

Одному богдыхану даже пришло в голову заказать фарфоровый орга́н с четырнадцатью трубками, издававшими разные тона.

Рабочие делали фарфоровые флейты и флажолеты,[1] но орга́н им не удалось сделать.

Вместо орга́на они сделали богдыхану другой инструмент из фарфоровых пластинок, висевших рядами. Ударяя по ним палочкой, можно было исполнять целые пьесы, потому что каждая пластинка издавала свою ноту, как струна в рояле.

Это тоже трудно было сделать. Для того чтобы пластинки звучали разными тонами, их надо было делать разной толщины и обжигать при разной температуре: одни — при очень высокой, другие — при более низкой.

Богдыхан не принял этого инструмента, — подавай ему орга́н, да и только!

У „великого дракона" и сердце было драконье. Над невыполнимыми заказами рабочие мучились по три, по четыре года. Они тратили свои деньги на дрова и глину и впадали в еще бо́льшую нищету. С отчаяния они просили мандаринов отменить заказы. Но мандарины старались выслужиться — получить павлинье перышко на шапочку в знак милости императора. Они били рабочих палками по пяткам и заставляли их приниматься опять за ту же работу.

Если „великий дракон" умирал, все китайцы в знак печали не стриглись и не брились в течение ста дней, их головы и подбородки зарастали черной щетиной. А рабочие втихомолку радовались: ведь наследник богдыхана — новый „дракон" — всегда отменял прежние заказы.

Одному богдыхану приспичило заказать вазу, такую большую и такую нескладную по форме, что она трескалась каждый раз, как рабочие ставили ее в печь. Тогда

[1] Флажолет — небольшой духовой инструмент вроде дудочки.

приходилось начинать работу сызнова. У рабочих болели пятки от побоев.

В последний раз поставили они в печь проклятую вазу. Пламя из топки освещало их усталые, измученные лица. Они были уверены, что ваза опять лопнет, и тогда — им не миновать казни. С горя один из них бросился в печь и сгорел. Ваза вышла прекрасно.

Восхищенный богдыхан позвал рабочих, чтобы их наградить. Они пришли, но одного среди них нехватало. В печи лежала горсточка пепла.

Китайцы были уверены, что ваза не треснула потому, что рабочий принес ей свою жизнь в жертву. Его прославляли, в его честь воздвигли часовни. С тех пор он сделался у китайцев героем, покровителем всех фарфоровых мастеров.

Этого беднягу звали Пу-тсаи.

„Но жалкие почести, оказанные ему после смерти, не соблазнили никого больше последовать его примеру", написал д'Антрекольль в своем письме в Париж, рассказав историю бедного рабочего.

КАО-ЛИН И ПЕ-ТУН-ТСЕ

Однажды старый Сунг, хозяин д'Антрекольля, вернулся домой в дурном настроении. Его морщинистое лицо стало совсем серым, он бормотал что-то себе под нос, потом стал громко стонать и плакать. Охая, он взял круглое зеркальце и прибил его снаружи над входом в дом.

— Что случилось? — спросил д'Антрекольль.

— Злые духи хотят меня погубить, — заплакал старик. — Они преследуют меня на пристани. Они придут в дом по моим следам, увидят свое отражение в зеркале, испугаются (потому что они очень страшные) и убегут.

— А что тебе сделали духи?

— Они опрокинули мои джонки на реке. Они подняли ветер, и мои джонки потонули вместе с прекрасным грузом! — Старик сел на порог и стал горестно причитать, покачиваясь вперед и назад: — Мои дорогие сыновья сами грузили као-лин на крепкие днища, мои прилежные сыновья сами делали пе-тун-тсе! Они послали джонки с као-лином и пе-тун-тсе вниз по реке из Фулиангга, чтобы старый Сунг мог продать этот груз на фарфоровые фабрики! Чтоб их бедный отец мог успокоить свою старость и купить себе бронзового бога! А злые духи опрокинули мои джонки! О, мой као-лин! О, пе-тун-тсе! Ловкий мастер не сделает из вас прекрасной посуды! Вы лежите на дне, над вами плавают рыбы, но рыбы не умеют делать фарфор! Старый Сунг не купит себе бронзового бога!

Тут старик вдруг замолчал и подозрительно взглянул на д'Антрекольля.

Монах уже привык, что китайцы всякую неудачу приписывали злым духам; рассказ старика его не удивил. Но когда Сунг заговорил о фарфоре, у монаха замерло сердце. Так вот из чего делают фарфор! Као-лин и пе-тун-тсе! Као-лин — это значит: высокий хребет, а пе-тун-тсе — маленькие белые кирпичики. Что же это такое?

Старик угрюмо ушел в угол и стал зажигать благовонные палочки перед носом глиняного идола с десятью руками. От него ничего больше нельзя было добиться.

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

А д'Антрекольль уже напал на след. Он болтался целыми днями у пристани. Зорко наблюдая за джонками, прислушиваясь к отрывочным словам матросов и купцов, он узнал, что као-лин — мягкая белая глина, ее добывают в горах, носящих название „Высокий хребет", пе-тун-тсе — маленькие белые кирпичики, их тоже привозят джонки.

Д'Антрекольль узнал, что рабочие раскалывают в горах твердый горный камень и делают из него кирпичики. Но как же из кирпичиков делают фарфор?

Однажды д'Антрекольль увидел на площади смешную будку, увешанную пестрыми флагами с бахромой.

Перед будкой стояла толпа. Ребятишки пролезали вперед к сидевшему возле будки музыканту, который играл на длинной флейте, а ногой, с зажатой между пальцами палочкой, ударял по маленькому барабану, стоявшему рядом с ним. Вдруг занавеска на будке раздвинулась, и в отверстии появилась куколка, которая смешно передвигала ногами, поднимала руки и вертела головой, как живая.

Налетевший ветерок распахнул занавеску шире, и д'Антрекольль увидел над куколкой руки хозяина, который ловкими пальцами дергал и перебирал нитки, протянутые к кукле, заставляя ее двигаться. Самого кукольника не было видно за занавеской.

Д'Антрекольль остановился и стал смотреть.

Двигавшаяся куколка изображала молодую китаянку; она пела песенку (то есть вместо нее чей-то голос пел за занавеской) и танцовала.

Потом на сцену вышла другая кукла — отец китаяночки. У него были длинные черные усы и борода и высокая шапка на голове. Тут пришла еще третья куколка — молодой, бедно одетый китаец. Д'Антрекольль понял, что молодой китаец сватает китаянку, а отец соглашается ее отдать только за очень большой выкуп.

Потом старый китаец и китаяночка ушли, а молодой остался и начал жаловаться, что он беден и не может дать выкупа. Ничего у него нет, кроме синей фарфоровой вазы, которую ему оставила на память его умершая мать.

Он ушел за занавеску и принес эту вазу. Вдруг появилась кукла, изображавшая европейца-купца. Он был рыжебородый, в треугольной шляпе, качался, как пьяный, и громко ругался. В толпе засмеялись и зашептались довольные китайцы. Видно, кукла была похожа на европейца. Европеец стал приставать к молодому китайцу, чтоб он продал ему вазу, а тому

не хотелось продавать подарок покойной матери, хотя деньги были нужны. Европеец предлагал ему денег все больше и больше. Потом они оба ушли, и на сцене никого не было, потому что кукольник приготовлял других кукол.

Музыкант опять начал игру.

В это время один из китайцев, стоявший впереди д'Антреколля в толпе, обернулся к другому и сказал:

— А ты слышал, как один „рыжебородый", — рыжебородыми в Китае звали европейцев, — хотел устроить фарфоровую фабрику у себя на родине? Он купил у нас много-много пе-тун-тсе и увез с собой. Но у него ничего не вышло, потому что он не взял с собой као-лина.

— Конечно, — ответил другой китаец, по виду купец, — фарфор нельзя делать без као-лина. Фарфор без као-лина — все равно что тело без костей.

Тут они оба рассмеялись и стали смотреть на сцену, где опять затанцовали куколки.

Д'Антреколлю было не до кукол. Его не интересовало, продал или нет молодой китаец свою вазу и женился ли он на китаяночке. Д'Антрекольль вернулся в свою комнату. Записав в свой тайный дневник все, что слышал про као-лин и пе-тун-тсе, он задумался.

„Должно быть, као-лин придает крепость фарфору, так же как кости придают крепость телу, — размышлял он. — Но как это может быть? Ведь као-лин — мягкая глина, а пе-тун-тсе — твердый камень!"

Он думал всю ночь и ни до чего не додумался.

А дело было вот в чем: пе-тун-тсе, твердый горный камень, становился прозрачным как стекло, если его накаляли в огне. Он плавился и растекался в обжигательной печи. Белая глина, као-лин, становилась твердой и очень белой, если ее обжигали. Китайцы смешивали пополам као-лин и пе-тун-тсе, делали из этой массы посуду и обжигали в печи при температуре около 1300°. Тогда получался фарфор.

Но д'Антреколлю это было невдомек. Он решил проникнуть на фабрики, чтобы узнать, что там делается.

Проходили годы. Мандарин уже не раз менял свою шапочку с золотым шариком на другую — с меховой опушкой, давая знак горожанам, что наступила зима. В Кинте-чене никто не смел переменить летнее платье на зимнее, пока этого не сделает сам мандарин.

Черная ряса отца д'Антреколля мелькала по всему городу. Он входил в богатые дома и в хижины бедняков. Он старался быть добрым с рабочими и давая деньги самым бедным из них. К нему привыкли, ему доверяли. Он даже пробрался в некоторые мастерские. Как удалось ему это?

Однажды он пришел к мандарину и прямо сказал ему, что хочет посмотреть, как делают посуду на фабрике. Мандарин остолбенел.

— Но ведь вы знаете, что мы никого не пускаем в мастерские?

— О, дорогой друг, — сказал хитрый монах, — ведь мне и так все уже известно. Я знаю, из чего делается фарфор: из као-лина и пе-тун-тсе; знаю, откуда привозят и то и другое.

Он сделал ученое лицо и прибавил:

— Фарфор без као-лина — все равно что тело без костей.

Мандарин удивился еще больше.

— Откуда вы это знаете?

— Сам „великий дракон" в Пекине позволял мне читать китайские старинные книги, в которых это написано, — важно соврал д'Антрекольль.

Тут мандарин еще раз проникся уважением к его учености, не зная, что д'Антрекольль ничего не читал, а только повторяет ему слова, подслушанные на пристани и на площади перед кукольным театром. Мандарин позволил д'Антреколлю пойти в мастерские, но сам пошел вместе с ним.

Это были большие бараки, обнесенные забором, на окраине города. Там кипела работа. На одном

дворе в больших чанах промывали као-лин и толкли пе-тун-тсе в порошок. Потом смешивали то и другое в больших ямах, выложенных камнем. Размешанное тесто раскатывали в пласты и уносили в подземные погреба. Там масса вылеживалась годами, становясь нежнее и мягче.

На другом дворе из массы делали посуду. Гончары сидели на скамейках и ногами крутили гончарные круги. Их ловкие руки лепили сосуды, вазы и чашки. Капли пота блестели на их смуглых спинах. Косы были завязаны в узлы на макушках. Ни один волосок, ни одна пылинка не должны были попасть в массу. Они могли испортить все дело.

Один рабочий придавал форму сосуда комку белой глины, другой подрезал ее ножом, третий обтачивал сосуд внутри, четвертый — снаружи, пятый полировал, шестой глазуровал, и так дальше.

Каждый сосуд проходил через руки семидесяти рабочих.

„Это удивительно, — писал в своем дневнике д'Антрекольль, — как быстро и ловко передают они сосуды из рук в руки. Никто не делает лишних движений".

Глазурь, от которой фарфоровая посуда становилась гладкой и блестящей, была налита в большие чаны. Ее делали, растирая в порошок зеленоватый горный камень и размешивая порошок в воде. Маленькие сосуды окунались в чаны с глазурью, а большие вазы обдувались глазурной пылью. Глазуровщики дули в маленькие трубочки с чашечками на концах. В эти чашечки был положен глазурный порошок с водой. От дуновения он распылялся по стенкам вазы.

Д'Антреколлю казалось, что нет народа более прилежного и ловкого, чем китайцы.

ЧЕТЫРЕ СОКРОВИЩА МУДРЫХ

— Я хочу сделать вам подарок, мой ученый друг, — сказал однажды мандарин, — вот четыре сокровища мудрых.

И он подал д'Антреколлю бумагу, кисточки, тушь и дощечку для растирания туши

Бумага была тонкая, шелковистая. Кисточки были сделаны из волос хвоста самой пушистой лисицы. Тушь лежала в зеленой нефритовой коробочке, обернутая в кусочек шелка. В ее черную матовую поверхность была вделана маленькая жемчужина в знак того, что это самая лучшая, самая черная, драгоценная китайская тушь.

Дощечка была простая, белая, зато фарфоровый стаканчик, в котором стояли кисточки, сиял синим рисунком. На нем были нарисованы старые китаец и китаянка. Они сидели и улыбались. У их ног еще один старый китаец, одетый в детское платье, из-под которого торчали его длинные ноги, играл детской погремушкой. В корзине расцветали лилии.

— Мы любим, когда дети почитают родителей, — сказал мандарин. — Здесь нарисован китайский мудрец Лао-лай-тцэ. Когда ему было семьдесят лет, а отец и мать его были уже совсем старые, он одевался в детское платье и играл перед ними на полу, чтобы их позабавить. Тогда старикам казалось, что они всё еще молоды, что их сын всё еще малютка, и они были счастливы.

— Неужели это сделано человеческой рукой? — воскликнул д'Антрекольль, восхищаясь яркосиним цветом рисунка и его нежными переливами под блестящей глазурью.

Мандарин засмеялся.

— Хотите посмотреть, как это делается? Пойдемте сейчас к нашим живописцам!

Д'Антрекольль, конечно, согласился.

ЖИВОПИСЦЫ

Живописцы сидели рядами на скамейках. Около них стояли чашки с красками и кисточками. Первый брал вазу, рисовал узор вокруг горлышка и передавал другому, тот рисовал горы, третий — людей,

четвертый — цветы, пятый расцвечивал рисунок золотом.

Когда ваза доходила до конца ряда, она была уже вся расписана, а мастера уже передавали другую из рук в руки.

В углу на отдельной табуретке стояла большая ваза. Живописец обдувал ее серой краской из трубочки, как это делали глазуровщики. Потом ножичком он проскребал на сером белые узоры. Пылинки краски падали на лист бумаги, подложенный под вазу. Живописец бережно собирал их и опять пускал в дело.

— Эта серая краска после обжига станет яркосиней, — сказал мандарин, — мы делаем ее из серого камня — кобальта. Эта краска очень дорога, в два раза дороже золота. Она у нас — самая лучшая, поэтому мы бережем каждую пылинку.

— Давно ли китайцы научились делать фарфор? — спросил д'Антреколль, когда они вышли за ворота.

— Старые люди говорят, — улыбнулся мандарин, — что фарфор изобрел мудрец Хуанг-ти пять тысяч лет тому назад. Хуанг-ти придумал компас, научил людей арифметике и мореплаванию, а его жена — Луитсе — показала китаянкам, как надо разводить шелковичных червей, но...

Тут слова мандарина были прерваны грохотом разбитой посуды. Живописец, несший большую вазу, расписанную серой краской, споткнулся и упал. Земля была усыпана осколками.

Мандарин пришел в бешенство. Он выхватил свой маленький кинжал и бросился к бледному, дрожащему рабочему.

— Я убью тебя, мошенник, негодяй, разиня! — кричал он. — Я продам твоих детей в рабство! Ты мне заплатишь за эту вазу!

Вежливый мандарин стал похож на разъяренного быка. Живописец валялся в пыли, обнимая его ноги. Из ворот выглядывали рабочие с перекошенными от ужаса лицами. Они ждали, что мандарин заколет

несчастного или прикажет забить его палками до смерти, — ваза была дорогая.

Д'Антрекольль быстро сообразил, что ему нужно делать.

— Не горячитесь, уважаемый друг, — он положил руку на плечо мандарина, — и простите беднягу. За вазу плачу я.

Он вынул кошелек и передал его старшему мастеру.

Мандарин оторопел от неожиданности. Рабочие кланялись д'Антреколлю до земли; бедняк, разбивший вазу, целовал край его рясы. Д'Антрекольль увел мандарина под руку.

Так он завоевал себе друзей в живописной мастерской.

ГЛИНЯНЫЕ КОРОБКИ

Д'Антрекольль писал длинное письмо своему начальнику, отцу Орри, в Париж. Там было описано все, что он видел на фарфоровых фабриках, одного только нехватало: как устроены печи и как обжигается в них посуда. Должно быть, обжиг был самым главным секретом, потому что мандарин не позволял д'Антреколлю входить во дворы, где были печи.

После случая в живописной мастерской д'Антрекольль однажды под вечер вошел в хижину того бедняка, который разбил вазу. Бедняк опять кланялся д'Антреколлю до земли и приказывал жене и детям целовать следы его ног. Он считал монаха своим спасителем.

— Слушай, — сказал д'Антрекольль, — я хочу посмотреть, как обжигают фарфор на фабриках.

Бедняк побледнел от испуга.

— Хорошо, — сказал он наконец, — будьте готовы, когда луна взойдет.

Вечером д'Антрекольль сидел на балконе своего домика. Над апельсинными деревьями всходила луна.

Внезапно маленькая тень появилась на дорожке. Это был мальчишка в рваной рубашке.

— Идемте, господин, — зашептал он, — отец ждет вас у печи.

Они пошли не по улицам, уже запертым заставами, а через дворы и чужие огороды. Монаху приходилось подбирать рясу и перелезать через изгороди.

Все было тихо. Опять пылали огни печей.

У какой-то высокой стены мальчишка остановился и бросил за нее камешек. Тотчас же в самом низу стены зашуршали камни и открылась дыра. Мальчишка полез в нее на четвереньках, шепнув д'Антрекольлю:

— Следуйте за мной, господин!

Пришлось почтенному монаху стать на колени и по-собачьи лезть в дыру. Крррр-ах! — рукав рясы оставил лоскут на остром камне.

Во дворе его подхватили под руки и поставили на ноги. Он узнал своего знакомца, разбившего вазу.

В углу двора пылала печь. Высокая труба сыпала искры в темноту. Перед огненной топкой молчаливо двигались темные фигуры. Это истопники делали свое таинственное дело.

Во дворе было еще две печи. Они не топились. Из одной вынимали уже готовую посуду, а в другую ставили еще не обожженный фарфор.

Рабочие подвели д'Антрекольля к этой печи.

Под навесом перед печью лежали круглые глиняные коробки из красной шершавой глины. Не обожженная, неблестящая, покрытая сероватыми красками посуда заключалась в эти коробки и в них ставилась в печь. Коробки не давали ей задымиться в огне, и благодаря им она нагревалась не сразу, а мало-помалу.

Маленькие чашки ставились по нескольку штук в каждую коробку. Для больших ваз были приготовлены целые столбики из коробок, поставленных одна на другую. Только нижняя коробка была с донышком, а остальные были просто глиняные круглые стенки, стоявшие одна на другой и слепленные вместе серой глиной.

Коробки с фарфором ставили в печь, заполняя ее до самого верха. Потом отверстие печи закладывали кирпичами и замуровывали глиной, оставив только

внизу место для топки. Туда бросали большие охапки дров.

Д'Антрекольль подошел к печи, которая горела уже восьмой день. Семь дней печь топили не очень жарко, а на восьмой подбрасывали дрова так, чтобы огонь становился очень сильным.

Дрова громко трещали, огонь выл в двадцатифутовой трубе, искры снопами сыпались в темноту. Силой огня и искусством прилежных мастеров хрупкая белая масса превращалась в печи в твердый блестящий фарфор.

В верху печи были проделаны маленькие окошечки, прикрытые черепками. Истопник влезал на печь, заглядывал в эти окошечки и железной палкой отодвигал крышку с верхней глиняной коробки. Отсветы огня прыгали по его лицу. Сквозь нестерпимый блеск он старался разглядеть фарфор.

Вначале фарфор накалялся докрасна, потом сиял желтым светом и наконец пылал ослепительным белым огнем. Тогда кончали топить.

Печь остывала двое суток, потом ее размуровывали и вынимали фарфор.

У третьей печи уже стояли твердые, сияющие, красками вазы и красные матовые чашки, похожие на коралл. При свете фонаря, висевшего на столбе, рабочие открывали одну коробку за другой и вынимали из них еще теплую посуду.

Д'Антрекольль хотел видеть всё. Он тоже влез на печь, которая топилась, и заглянул в окошечко. Ослепительный блеск ударил ему в глаза. Обтерев рукой выступившие слезы, он опять приложил один глаз к окошечку.

Вдруг мальчишка кубарем скатился со стены, где он все время сидел, и что-то забормотал рабочим.

— Мандарин, мандарин идет с обходом!.. — зашептали испуганные рабочие, а по переулку уже слышались шаги, звон оружия и кто-то стучал в ворота.

Опрометью бросился д'Антрекольль к забору, но рабочие подхватили его под руки; подтащив к печи,

посадили на землю и покрыли его сверху столбиком из коробок, приготовленных для большой вазы.

— Они уже в переулке, они вас увидят! — шептали рабочие и прикрыли столбик глиняной крышкой.

Во двор уже входил мандарин с десятью полицейскими.

Мандарин подошел взглянуть, как топится печь. Потом он осмотрел готовую посуду, разбранил рабочих за то, что две чашки лопнули, и, подойдя к третьей печи, сел на груду черепков и стал смотреть, как рабочие ставят коробки с посудой в печь.

Он был в двух шагах от д'Антрекольля. У того замирало сердце и холодный пот выступал от страха, что мандарин его найдет. Какой стыд, какой позор! Ученый друг мандарина, как мальчишка, пролез под забором и сидит на корточках, с оторванным рукавом, в глиняной коробке! Ему захотелось плакать. Рабочим тоже было не до шуток. Как бы разъярился мандарин, если бы нашел д'Антрекольля! Может быть, он посадил бы рабочих в тюрьму, надел им на шеи деревянные колодки, или поджарил бы их на медленном огне! Ведь они пустили чужеземца к обжигательной печи!

С такими мыслями рабочие ставили коробки в печь, незаметно замедляя работу. Наконец все коробки были поставлены, остался только один столбик — высокий, как будто заключавший вазу.

Там сидел д'Антрекольль.

Рабочие дрожащими руками уже взялись за глиняные стенки, чтобы нести в печь эту удивительную вазу.

Вдруг у другой печи с грохотом посыпались черепки, раздались дикие крики, и двое рабочих, сцепившись, покатились на землю. Они бешено дрались.

Мандарин вскочил, полицейские бросились к дерущимся. Отчего-то потух фонарь, звенела какая-то посуда, от других печей бежали рабочие. Драчуны подкатились под ноги полицейским и повалили их на себя. Мандарин кричал:

— Сумасшедшие, смотрите за огнем в печи!

В этой суматохе д'Антрекольля вытащили из-под коробок и протолкнули в дыру забора. Мальчишка уже ждал его в переулке.

Во дворе зажгли фонарь, и тогда стало видно, что полицейские тузят друг друга, а драчуны уже смирно стоят у печей.

Мандарин приказал бить их палками по пяткам за драку во время работы. Он не знал, что суматоха была нарочно затеяна рабочими, чтобы спровадить д'Антрекольля и спасти товарищей от еще большего наказания.

Д'Антрекольль слышал глухие палочные удары и стоны рабочих за стеной. Мальчишка опять повел его по чужим задворкам.

В темноте безмолвно пылали печи.

Вернувшись домой, д'Антрекольль наскоро нарисовал чертеж печи и докончил свое письмо к отцу Орри. Он написал ему все, что узнал про обжиг, но о своих приключениях хитрый монах умолчал.

Зачем ему было рассказывать всему свету, как он сидел в глиняной коробке и пролезал в дыру под забором?

Он отправил свое письмо в Европу на португальском корабле. Это было в 1712 году.

Заплывшие жиром глазки отца Орри закатились от восторга, когда он прочел письмо. Наконец-то секрет фарфора попал в руки иезуитов!

Он созвал ученых монахов в свою прохладную келью и торжественно прочел им письмо. Но ученые отцы только поскребли в затылках.

— Легко сказать — као-лин и пе-тун-тсе, а как это зовется по-христиански?

Отец Орри рассердился.

— Говорят вам, као-лин — это белая глина, а пе-тун-тсе — твердый горный камень!

— Белых глин много на свете, а горных камней — и того больше! — ответили монахи, поклонились отцу Орри и стали перебирать четки.

Тогда он передал письмо королевским химикам и физикам. Они долго ломали себе головы.

— А, может быть, у нас таких глин и камней вовсе не водится, — сказали наконец королевские ученые. — В Китае — одна земля, а у нас совсем другая.

Отец Орри написал д'Антреколлю, чтобы он прислал ему куски као-лина и пе-тун-тсе на образец.

Прошло восемь лет, пока д'Антреколль прислал второе письмо с образцами. Но образцы тоже не помогли французам.

Долго еще французские ученые сидели над письмами монаха и старались сообразить, как делается фарфор. Эти письма д'Антреколля сохранились до сих пор, но не им суждено было открыть европейцам китайский секрет.

Глава третья

КОРОЛЕВСКИЙ АЛХИМИК

БЕРЛИН В ВОЛНЕНИИ

Пока д'Антрекольль бродил по Кин-те-чену, смотрел на пылавшие печи и распивал чай у мандарина, в Европе тоже не дремали.

Не успело еще первое письмо д'Антрекольля попасть в холеные руки отца Орри,— еще португальский корабль, везший это письмо, огибал мыс Доброй Надежды,— а уже в Германии произошло событие, нашумевшее на всю Европу.

Дрезденская посудная фабрика вдруг выпустила чашки из настоящего, белого фарфора.

Кому и как удалось раскрыть старинную тайну? Сначала этого никто не знал. А мы, если хотим узнать, как это случилось, должны вернуться назад — к 1701 году.

В один серый октябрьский день Берлин был в большом волнении. Толстые бюргеры оживленно беседовали на улицах:

— Слыхали, сосед? Тысяча талеров тому, кто приведет к бургомистру этого шалопая! Тысяча талеров за мокроносого мальчишку, хе-хе!

— Ого! — отвечал сосед, куривший у окна трубку, — мальчишка-то не простой, он делает золото!

— Кто делает золото? Никто не может сделать золото! — пищал глуховатый старичок, набивая нос табаком.

— Аптекарь Цорн говорит, что мальчишка наколдовал ему золота на полдуката!

— Не может быть! — поднимала брови нарядная горожанка. — Я сколько раз видала его в аптеке. Лентяй и ротозей, каких немало, да вдобавок заспанный всегда, как тюлень!

— Потому он и был заспанный, что ночи напролет варил свое золото, — объяснял сосед, важно подняв палец к носу.

Аптекарские ученики в плащах и круглых шапочках спорили за кружками пива громче обыкновенного.

— Он кипятил ртуть в колбе и вдруг видит: на дне — золото! — говорил один, тараща глаза от волнения.

— Ерунда! — кричал другой. — Это нищий грек, старый Ласкарис, подарил ему пузырек с волшебной тинктурой; она любой металл превращает в золото.

В аллее Под Липами останавливались кареты с гербами на дверцах. Расфранченные господа выходили навстречу друг другу и шептались. Высокие парики кивали, трости с серебряными набалдашниками постукивали о землю в такт шопоту.

— Слыхали, барон? Наше новоиспеченное величество сильно нуждается в червонцах. Король не упустит молодца, который делает золото!

— Как же, как же!.. Уже послана за ним погоня, двенадцать человек с лейтенантом во главе!..

— Можно ожидать войны, барон. Можно ожидать войны с Саксонией из-за мальчишки.

— Слыхали? Слыхали? — шуршали сухие листья, кружась по аллее.

Виновник всех этих слухов, девятнадцатилетний юноша, оцененный в тысячу талеров,

тем временем трясся на плохой лошаденке по дороге в саксонский город Виттенберг.

Когда ему попадались по пути прусские солдаты в голубых мундирах, он гнал лошадь без памяти, словно убегал от смерти. Но, переехав саксонскую границу, он успокоился и, вынув из дорожного мешка какое-то письмо, ласково его погладил. На конверте было написано: „Господину Кирхмайеру, ректору Виттенбергского университета".

Заходящее солнце ударило лучами в верхушку сельской колокольни. Круглое окошко под крышей вспыхнуло золотом, как червонец.

— Золото! — прошептал юноша, вздрогнув, как будто вспомнил что-то страшное. Потом он тряхнул головой, усмехнулся и подхлестнул лошадь.

Вдалеке уже виднелись красноватые башни Виттенберга, города ученых профессоров и веселых студентов.

АЛХИМИКИ

— Глупости! — сказал бравый майор Тиман своей плачущей жене. — Никогда я не поверю, чтобы Ганс варил золото. Он способен скорее „сорить" золотом, чем „сварить" хоть одну золотую крупинку! — И майор сердито топорщил свои седые усы, стараясь скрыть волнение.

Его пасынок, Иоганн Бётгер, с четырнадцати лет учился в Берлине у аптекаря Цорна. Мальчик был способный, но на беду занялся алхимией.

Химия тогда была в загоне — зато алхимия, „высшая химия", как ее называли, считалась великой наукой. Алхимия учила, как делать золото.

Не только горячие головы студентов, но и пожелтевшие лбы старых ученых склонялись над очагами, где в колбах выпаривалась ртуть. Дрожащие пальцы подсыпали в нее серу, изъеденные дымом глаза жадно

впивались в колбу, надеясь на ее дне увидеть красноватую жидкость — волшебную тинктуру — или порошок, философский камень, дающий людям вечную молодость и все металлы превращающий в золото.

Смешивая ртуть с серой, алхимики получали киноварь, красноватую сернистую ртуть. Киноварь ничего не превращала в золото. Тогда алхимики говорили, что работа была начата в несчастливый день, и начинали ее сызнова. Они верили в колдовство, а физику и химию знали плохо. Они окружали себя тайной и назывались „адептами".

Некоторые „адепты" думали, что солнце и звезды — это расплавленные глыбы золота. Стоит начертить волшебные знаки и прочитать заклинания — золото начнет капать с неба прямо в колбы алхимиков.

Настоящие ученые смеялись над ними. Химик Лемери говорил про них так: „Начало алхимии — хвастовство, продолжение ее — пачкотня с золой, а конец — нищета и чахотка".

Молодой Бёттер начал с хвастовства. Он был очень способный и легко запоминал всякую премудрость, даже если она была чепухой на самом деле. Алхимики скоро сделали его „адептом".

Как же не похвалиться перед товарищами, что он „адепт", как же не похвастаться, что он умеет варить золото? Он показывал всем кусочек золота, будто бы сваренный им самим.

Ему поверили все — даже его учитель, аптекарь Цорн.

ОПАСНОЕ ЗАНЯТИЕ

Слух о молодом алхимике дошел до ушей прусского короля Фридриха. С этой персоной шутить было опасно.

В те времена короли сильно нуждались в червонцах. На постройку великолепных дворцов, на кафтаны, усыпанные бриллиантами, нехватало денег, собранных налогами. Ко-

ролевские подати разоряли вконец крестьян и ремесленников.

Каждому королю хотелось заполучить философский камень и у себя дома легко и просто делать червонцы, превращая в золото железо или свинец. Они тоже не знали физики и химии.

Короли приглашали алхимиков в свои дворцы, давали им деньги на опыты и ждали золота.

Алхимики исправно ели и пили за королевским столом, гадали по звездам и варили румяна для придворных дам, но золото не появлялось.

Чтобы пустить пыль в глаза своему покровителю, алхимик приглашал его на свои опыты. Придворная знать наполняла мрачную лабораторию алхимика. На полках тускло мерцали пыльные колбы, скелет скалил на угла свои желтоватые зубы, чучело совы простирало крылья над очагом.

Алхимик в мантии, расшитой странными знаками, опускал в сосуд ртуть, серу и свинец, который должен был превратиться в золото. Он кипятил все это на огне, помешивая смесь медной палочкой. Палочка была пустая внутри, и в ней было спрятано золото. Оно незаметно проскальзывало в сосуд.

Когда опыт кончался, алхимик показывал всем кусочек золота на дне сосуда. Все ахали, покровитель давал алхимику денег, чтобы он сварил золота побольше. А чтобы алхимик не убежал со своим секретом, его нередко сажали в тюрьму и выпытывали у него тайну философского камня.

За сто лет до Фридриха Первого саксонский курфюрст замучил пытками в тюрьме алхимика, шотландца Ситона, за то, что Ситон не мог открыть ему секрет, которого и сам не знал. Фридрих Первый уже отправил на виселицу нескольких алхимиков, которые не могли сообщить ему несуществующую тайну.

Услыхав о молодом алхимике Бёттгере, Фридрих потребовал его к себе. Но Бёттгеру не хотелось попасть на виселицу. Посланные короля не нашли Иоганна ни в аптеке, ни в его каморке на чердаке.

Тогда Фридрих отправил за ним погоню и пообещал тысячу талеров тому, кто приведет беглеца.

Немудрено, что мать Бёттгера плакала, а майор кусал усы, беспокоясь за участь юноши.

Однажды вечером в их домик постучали. Кто-то подал лоскуток бумаги и ушел. На лоскутке было нацарапано: „Не беспокойтесь обо мне, дорогая матушка! Я жив и здоров и учусь в университете. Будьте и вы здоровы". Подписи не было, но мать узнала каракули сына и успокоилась, а майор сказал:

— Он всегда был дельный парень, твой Ганс!

Они никому не рассказали про письмо.

ГОНЦЫ ПОСКАКАЛИ

Германия состояла тогда из отдельных маленьких государств. У каждого из них был свой король, своя столица и свои послы при дворах соседних государей. Бёттер бежал из прусского королевства в саксонское. Саксонским королем в то время был Август Сильный, а город Дрезден был его столицей.

Август Сильный был не прочь стать королем и в соседней с ним Польше и поэтому часто уезжал в Варшаву, польскую столицу. Тогда вместо него Саксонией управлял министр Фюрстенберг.

В тот день, когда мать Бёттера и майор Тиман получили письмо от Иоганна, князь Фюрстенберг сидел в Дрездене и читал секретное письмо, присланное ему из Берлина.

Саксонский посол писал ему о Бёттере: „Мы можем себя поздравить, что молодой алхимик находится у нас в Саксонии. Он наверное сделает нам много золота и пополнит пустую королевскую казну. Следует за ним присматривать!.."

Через час срочный гонец с письмом от Фюрстенберга скакал в Варшаву, где саксонский король, Август Сильный, добивался польской короны.

Августу нужны были червонцы не меньше, чем Фридриху. Алхимик пришелся кстати. „Задержать его,

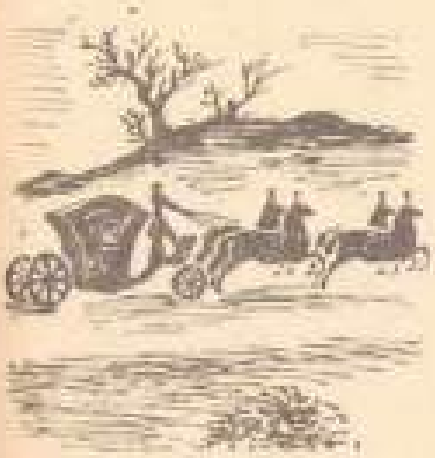
следить за ним и узнать у него секрет золота", поспешил ответить король своему министру Фюрстенбергу.

А Фридрих посылал своих гонцов в Дрезден, требуя выдачи ему молодого алхимика, как преступника, бежавшего от суда.

Короли были готовы драться из-за алхимика, как собаки из-за кости.

Из Дрездена Фридриху не отвечали.

ПОХИЩЕННЫЙ СТУДЕНТ



Старый Кирхмайер, ректор Виттенбергского университета, сразу принял в число студентов веселого, быстроглазого юношу, привезшего ему письма от берлинских ученых.

Каждый день Бётгер, насвистывая веселую песенку, проходил по сводчатому коридору университета.

В анатомической палате он резал мертвые руки и ноги и смотрел, как переплетаются между собою мышцы.

Он забыл чудеса алхимиков и хотел стать врачом.

В лаборатории он возился с весами и ретортами, легко решая задачи, над которыми другие студенты потели подолгу.

— Способный студент. Ясная голова и золотые руки, — говорили про него старые профессора.

Вдруг он исчез так же неожиданно, как появился.

Товарищи его узнали от соседей, что ночью приезжали закутанные в черное люди, посадили студента в карету и увезли неведомо куда.

Реторты, оставленные Иоганном в лаборатории, покрылись пылью. Его шаги не звенели больше по каменным плитам коридора.

В университет он так и не вернулся!

Карета, подпрыгивая, везла Иоганна куда-то в темноту. Его спутник в маске держал наготове большой пистолет и молчал, как убитый. По сторонам скакали верховые. Бёттер не знал, куда его везут.

Под вечер другого дня карета остановилась в большом городе, перед домом с каменным гербом на воротах. Бёттера провели в кабинет князя Фюрстенберга, обтянутый желтым шелком.

Ласковый и вкрадчивый Фюрстенберг, сверкая бриллиантами на пальцах, сказал Бёттеру, что король Август хочет узнать у него секрет золота. Бёттер будет жить во дворце и варить золото для короля. Если он вздумает бежать, его посадят в тюрьму.

Бёттер, бледный, с дрожащими губами, отказывался варить золото.

Бёттер хотел вернуться в университет и учиться. Бёттер бегал по кабинету, ломая руки, и требовал, чтобы его отпустили на свободу.

Фюрстенберг только улыбался в ответ.

— Если вы не откроете нам секрет золота, вас постигнет участь других обманщиков. Вы знаете — какая?

Бёттер знал — виселица.

Ему показалось, что петля уже затягивает его горло.

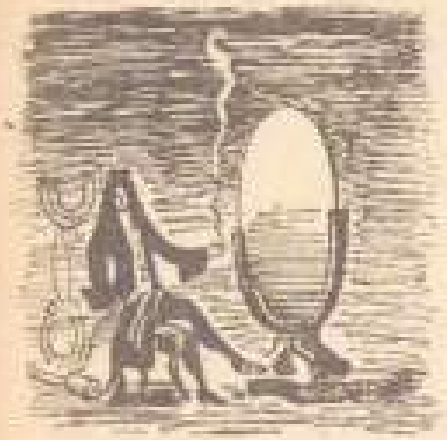
Рыдая, он бросился в кресло и закрыл лицо.

Фюрстенберг осторожно взял его за плечо и, распахнув дверь, показал приготовленные для него комнаты.

Золоченые ножки бархатных кресел отражались в зеркале паркета.

— Не забудьте, что вас зовут теперь „Барон Шрадер", — сказал Фюрстенберг, — никакого Бёттера больше нет. Так надо, чтобы вас не нашли гонцы прусского короля. Спокойной ночи, барон Шрадер!

МАТЕМАТИК ЧИРНХАУЗ



Вальтера фон-Чирнхауза знали все в Дрездене. Заметив на улице его высокую фигуру с тростью в руке, каждый дрезденец спешил приветливо поклониться и пожелать ему доброго утра, чтобы получить в ответ ласковую улыбку.

Математика Чирнхауза знали по всей Европе. Он был ученый и мудрый изобретатель. Великий физик Лейбниц был его другом.

В доме Чирнхауза стояли сделанные им зажигательные зеркала, имевшие полтора метра в поперечнике. Их медная, полированная поверхность отражала солнечные лучи так, что они давали температуру более высокую, чем дровяные печи.

Возьмите увеличительное стекло и поймайте им солнечный луч. На бумагу под стеклом упадет светлое, яркое пятнышко. Вы увидите, что бумага скоро задымится, а подставленный под стекло палец почувствует, что светлое пятнышко жжется. Это происходит оттого, что лучи солнца, проходя через стекло, преломляются и все собираются в одно пятнышко.

Так же были устроены зеркала Чирнхауза, но они были гораздо сильнее. На их огне можно было расплавить горсть монет в несколько минут.

В дедовском имении Чирнхауз устроил стекольный завод и делал на нем стекла для микроскопов и телескопов.

Когда Вальтер фон-Чирнхауз получил записку от Фюрстенберга с приглашением прийти на ужин и познакомиться с молодым алхимиком, он недовольно поморщился. Ему не хотелось итти. Он не верил в чудеса алхимии. Но потом он подумал: „Еще один злополучный алхимик попал в беду. Может быть, я смогу помочь ему чем-нибудь".

Он надел свою треугольную шляпу, взял трость и пошел во дворец.

— Позвольте представить вам моего молодого друга, барона Шрадера, — сказал Фюрстенберг своим гостям, когда в залу вошел стройный юноша в розовом кафтане.

Накрытый стол сверкал серебром и хрустальными бокалами. Канделябры поднимали над ним желтые свечи в своих бронзовых руках.

„Барон Шрадер" был бледен, брови сдвинуты, у рта лежала горькая складка.

— Мы рады вас видеть в Дрездене, дорогой барон,— говорил ему толстый Пабст, начальник саксонских рудников.— Мы слышали, что вы владеете великим сокровищем — секретом философского камня.

— Сокровищем? — усмехнулся барон.— Единственное сокровище на свете — это свобода. А у меня ее нет — я пленник.

— Шш!.— вмешался любезный Фюрстенберг,— вы не пленник, вы — наш гость, милый барон.— И он то и дело подливал вина в бокал барона.

Понемногу вино зашумело в голове юноши. Щеки его зарумянились. Он стал горячо и запальчиво говорить, что алхимики не делают настоящих опытов, не знают свойств металлов. Они — невежды.

— Нам нужна наука, а не колдовство! — воскликнул он.

Чирнхауз одобрительно кивал головой. Пабст предложил „барону" для опытов руду и горные камни из своих рудников.

— Если вам нужна высокая температура для ваших опытов, я дам вам мои зажигательные зеркала, и — давайте работать вместе,— сказал Чирнхауз.

Бёттер вспыхнул от удовольствия. Ученый Чирнхауз хочет работать с ним, молодым студентом! Ему стало весело.

Фюрстенберг и Пабст обращались с ним как с важной персоной. Вино приятно шумело в голове. Он выпивал стакан за стаканом, хохотал, хлопал Фюр-

стенберга по плечу, хвастался тем, что знает секрет философского камня, и обещал наварить золота для короля на сто тысяч талеров. Чирнхауз смотрел на него умными, печальными глазами.

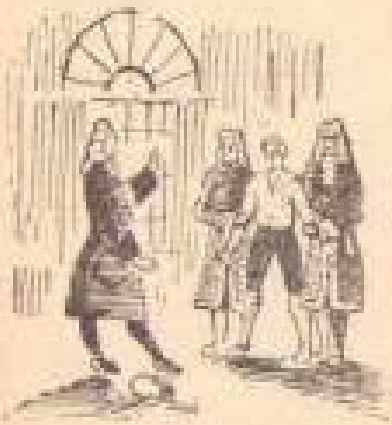
Когда гости простились и барон нетвердой походкой ушел к себе в спальню, Фюрстенберг задержал математика у двери.

— Что вы скажете про алхимика?—спросил он.

— Способный малый, но хвастун,—ответил Чирнхауз и вздохнул.

Ему было жаль юношу, из которого мог бы выйти хороший ученый, если бы в его жизнь не замешался дурацкий философский камень.

В КАПКАНЕ



Иоганн Бёттер проснулся в большой кровати с тяжелыми шелковыми занавесками. Голова у него болела. Холодное утро хмуро глядело сквозь решетку окна.

Он вспомнил вчерашний день и застонал. Своим глупым хвастовством он еще крепче запер двери своей тюрьмы. Он наобещал князю золота — целые горы. Теперь его уже не выпустят. Когда откроется, что он не знает секрета золота, — его повесят.

— Но я не могу! Я не хочу, я убегу от них!—крикнул он. Вскочив с постели, он подбежал к окну и ухватился за чугунную решетку.

— Что угодно барону?—спросил дюжий лакей, выступая из-за портьеры. Он подслушивал под дверью. Бёттер пришел в бешенство.

— Вон отсюда, мерзавец, шпион!

Бёттер запустил в лакея сапогом и швырнул на пол умывальный таз с кувшином. Вместо одного лакея стало два. Они крепко держали бившегося юношу.

— Ну, ну,— сказал Фюрстенберг, с улыбкой перешагнув через кувшин и лужу на полу,— зачем же так бушевать?— Он велел лакеям уйти.

— Отпустите меня на свободу! Зачем вы держите меня, я не преступник!— кричал ему Бёттер.

Фюрстенберг стал серьезным.

— Свобода в ваших руках, дорогой! Откройте мне секрет золота, и вы будете свободны в тот же час. Не упрямьтесь, барон! Лаборатория ждет вас.

ВОЛШЕБНАЯ ТИНКТУРА

Три дня работал Бёттер в лаборатории. На четвертый день он позвал Фюрстенберга. Положив в сосуд ртуть, он стал ее выпаривать, подбавляя к ней какую-то красноватую жидкость.

О чудо! Через два часа варки на дне сосуда оказался неправильный кусочек золота!

Фюрстенберг от души обнял алхимика.

— Дайте мне тинктуру, барон, я отвезу ее королю Августу в Варшаву! Я сам сделаю при нем опыт. Даю слово, что из Варшавы я привезу вам свободу. А пока не выходите никуда из дворца и ждите моего приезда!

Фюрстенберг уехал в Варшаву. Если бы он знал, что золото в сосуде появилось не из волшебной тинктуры, а из единственного червонца, зашитого в подкладку старого плаща! Того самого плаща, в котором аптекарский ученик бежал из Берлина! Если бы он знал, что Бёттер подбросил червонец в сосуд, надеясь на время ослабить надзор и улизнуть подальше от искателей волшебной тинктуры!

НЕПОЧТИТЕЛЬНАЯ ЛЕВРЕТКА

Король Август сидел на голубом диване в своем варшавском кабинете. Он спустил на ковер свою любимую остромордую левретку, когда Фюрстенберг

появился в дверях, отвешивая глубокие придворные поклоны.

Фюрстенберг поставил серебряную коробочку на тонконогий столик, стоявший перед королем, и сказал:

— Вот философский камень, над которым сотни лет трудились алхимики. Это сокровище принадлежит теперь вашему величеству!

Бледные глаза Августа сверкнули, нос хищно заострился на толстом лице. Август схватил коробочку.

— Вы достали это у алхимика?— хрипло спросил он.

— Да, и я перед вами повторю его опыт. Ваше величество увидит, как простая ртуть превратится в золото.

— Посмотрим,— сказал Август, положив коробочку обратно на столик,— а теперь займемся делами.

Они перешли к дубовому столу. Фюрстенберг подавал королю бумаги. Август обмакивал гусиное перо в серебряную чернильницу и размашисто подписывался.

Остромордая собачонка на ковре искала блох, потом она стала ловить свой хвост.

Вдруг стук и визг заставили короля обернуться. Собачонка кружилась по ковру, поджимая ушибленную лапку. Тонконогий столик лежал на боку. Серебряная коробочка раскрылась, из разбитого пузырька красноватая жидкость вытекала на ковер темной лужицей.

— Наша тинктура!— горестно воскликнул Фюрстенберг.

ОТСРОЧКА

Бётгеру не удалось бежать. За ним следили всё так же зорко. С ужасом он ждал возвращения князя.

„Моя тинктура, конечно, не сделала золота в Варшаве. Обман раскрыт — меня ждет виселица!" с от-

чаянием думал он. Его не радовали ни бархатные камзолы, сшитые ему придворным портным, ни роскошные обеды, приготовленные княжеским поваром. От страха у него тряслись колени, когда Фюрстенберг вернулся и позвал его к себе.

„Бедняга, — подумал Фюрстенберг, глядя на дрожащего алхимика, — он побледнел и исхудал в неволе от тоски". И князю стало совестно, что он не уберег пузырька с тинктурой от противной собачонки.

— Дорогой мой, — сказал он, — король просит вас еще раз сделать тинктуру. Пузырек, который вы мне дали... кха!... гм!... разбился.

— Разбился?—Бёттер чуть не подпрыгнул от радости.

— Вот письмо его величества! — сказал князь.

У Бёттера затанцовало сердце. Опасность пока миновала. Август писал ему, что алхимик может не торопиться с работой. Пусть „барон Шрадер" работает, как ему хочется. Все его желания будут исполняться. Но, пока секрет золота еще не в руках короля, барон не получит свободы.

Бёттер был рад, что получил отсрочку.

ПРИЗРАК ВИСЕЛИЦЫ

Бёттер стал прилежно изучать руду и горные камни, которые давал ему Пабст. Чирнхауз часто приходил к нему, и они работали вместе.

Дрезденские ученые стали собираться во дворце по вечерам. „Барон Шрадер" показывал им свои опыты и делился с ними своими новыми знаниями. Скоро все уви-

дали, что „барон Шрадер", умный и способный химик, — на пути к большим научным открытиям. Увлеченный наукой, Бётгер опять забыл про алхимию. А когда он вспоминал, что король скоро снова потребует золота, ему становилось страшно, и опять казалось, что петля стягивает горло. Тогда, чтобы забыться, он устраивал праздник. Толпа молодежи наполняла залы дворца. Нарядные пары танцовали на лощеном паркете. Веселей всех бывал молодой хозяин, нарядный „барон Шрадер". Он выдумывал всё новые развлечения: маскарады, игры, веселые пиры.

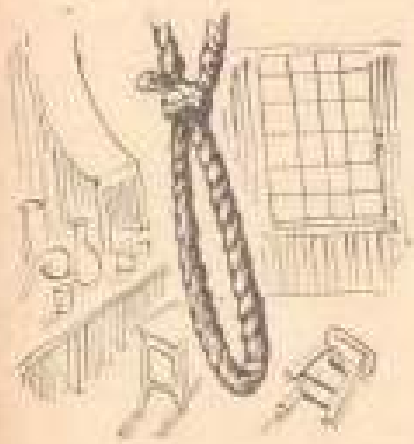
Молодому дворянчику фон-Шенку Фюрстенберг поручил устраивать праздники для „барона Шрадера". Фон-Шенк метался, как угорелый, исполняя прихоти „барона". „Барону" ни в чем не отказывали, кроме свободы.

Иногда среди веселой пирушки Бётгер бледнел, смотрел куда-то стеклянными глазами и вдруг приказывал слугам тушить свечи, а гостям — убираться прочь.

Он удалялся в свою комнату. Если к нему входили, он впадал в бешенство. Самые неподходящие вещи летели в головы вчерашних собутыльников.

Его мучил призрак виселицы.

АВГУСТ ТРЕБУЕТ ЗОЛОТА



Прошел год. Август напомнил алхимику, что он обещал сделать золото.

В одну туманную ночь алхимик исчез из дворца. Погоню послали за ним во все концы. В глухом городишке Энсе беглеца схватили и привезли обратно под конвоем. Август требовал золота.

Тогда алхимик отщепил шелковый шнур от портьеры,

перекинул его через дубовую балку в потолке лаборатории и на конце сделал петлю. „Лучше умереть самому, чем каждый день ждать казни", решил он.

Его вынули из петли и привели в чувство.

Август требовал золота.

ЗАМОК АЛЬБРЕХТСБУРГ

Прошло еще два года. Уже не во дворце, а в старинном замке Альбрехтсбурге жил Бёттер. Крепкая дверь с засовом отделяла его от всего мира.

Веселая жизнь во дворце кончилась. На голых стенах его кельи проступала зеленая плесень. Тут же котела чугунная печка для опытов.

В подземельях Альбрехтсбурга трое рабочих складывали большие печи.

В них должно было вариться золото для короля. Август требовал золота.

Жажда свободы, тоска по вольному миру заставляли Бёттера цепляться за секрет золота, от которого зависела его свобода. Он лихорадочно работал, делая всё новые составы и пробуя их. Порою он сам верил в успех и тогда обещал Августу, что скоро будет много золота.

Но золото не появлялось. От неудачи Бёттер приходил в отчаяние. Только мудрый Чирнхауз утешал и успокаивал его.

Чирнхауз уговаривал Августа, чтобы он не требовал золота от Бёттера и позволил ему заниматься настоящей наукой — химией, которая не имела ничего общего с философским камнем и прочей чертовщиной.

Август хлопал Чирнхауза по плечу.

— Эх вы, математики! Разве вы понимаете что-нибудь, кроме ваших плюсов и минусов? Не мешайтесь в чужие дела!

Август воображал, что он умнее всех математиков на свете.

Август требовал золота.

ГОСПОДИН С ТРЕМЯ ЛАКЕЯМИ

Шведский король Карл XII захотел отнять у Августа польскую корону. Он взял Варшаву и вторгся со своими войсками в Саксонию.

Шведы подступили к Дрездену. Отряд саксонских солдат подскакал однажды к неприступной крепости Кенигштейн, поднимавшей свои каменные башни над Эльбой. Они привезли с собой сокровищницу короля, спасая ее от шведов, и еще привезли они в карете какого-то господина с тремя лакеями.

Этого господина сразу посадили под замок. Два раза в неделю офицер выводил его на полчаса погулять по крепостному валу. С каждым разом лицо господина становилось бледнее, и всё тяжелее шагал он, опираясь на палку. Должно быть, ему всегда было холодно, потому что три лакея сложили в его комнате огромную печь. Из ее трубы день и ночь валил дым. А, может быть, ему совсем не было холодно, — может быть, он варил что-то в этой печи.

Шведам говорили в Дрездене, что алхимик короля бежал в Баварию и след его потерян.

Прошел год.

Шведы ушли из Дрездена. В Кенигштейн приехали важные господа в каретах за таинственным господином. Те, кто видел, как его сажали в карету, рассказывали потом, что он был бледен, рыдал и бился и не хотел ехать, хотя господа привезли ему великолепный, вышитый золотом камзол в подарок от самого короля Августа.

НОТУС

В Дрездене на берегу Эльбы строился павильон с большими печами. Горожане гадали, что такое там будет?

В павильон привезли таинственного „господина с тремя лакеями". Его звали теперь Нотус.

Тогда пошел слух, что в печах павильона он будет варить золото.

Так оно и было. Август требовал золота. Бёттер (теперь его звали Нотус) работал изо всех сил, но у него ничего не выходило. Он накалял свои печи, как только мог, думая, что золото появится при большой жаре. Тигли, в которых он плавил металлы, лопались или растоплялись от такой жары.

Надо было сделать тигли, которые выдержали бы самый большой огонь. Бёттеру, по его требованию, присылали разные глины, и он пробовал их обжигать. Оказалось, что красная нюрнбергская глина выдерживает самый сильный огонь. После обжига она становилась крепкой, звонкой и была красивого красного цвета.

Бёттер показал Чирнхаузу тигли из нюрнбергской глины.

— Да ведь из этой глины можно делать красную фарфоровую посуду! Вот настоящее дело для вас! — воскликнул Чирнхауз.

МУДРЫЙ СОВЕТЧИК

Чирнхауз пошел к королю и опять стал уговаривать его не требовать золота от Бёттера. Уже шесть лет стряпал алхимик в своей кухне, а золота все еще не было.

— Саксония разорена войной, — говорил Чирнхауз, — но в ее земле лежат огромные богатства:

руда, уголь и разные глины. Будем добывать их, устроим фабрики и заводы. Саксонские леса дадут нам топливо, горные реки завертят колеса наших мельниц. У нас есть стекольный завод, устроим еще и посудную фабрику. У нас есть прекрасный химик; он найдет нужные глины, составит глазури и краски. Он уже сейчас может делать красную фарфоровую посуду!

При слове „фарфор" Август навострил уши. Он тратил бешеные деньги, покупая китайский фарфор.

Это он отдал прусскому королю полк солдат за несколько китайских ваз.

Он купил новый дворец графа Флемминга и наполнил его драгоценным китайским фарфором. В башне этого дворца до сих пор стоят лучезарные синие вазы, за которые Август заплатил своими солдатами.

„Фарфор не хуже золота! — подумал Август. — Если у меня будет фарфоровая фабрика, все короли в Европе лопнут от зависти, а золото рекой потечет в мою казну без всякого философского камня".

Он приказал устроить фарфоровую фабрику.

ХИМИК ИОГАНН БЁТГЕР

„Барон Шрадер", „господин с тремя лакеями" и „Нотус" улетели в трубу вместе с философским камнем.

На их месте в павильоне над Эльбой работал веселый, поздоровевший химик Иоганн Бётгер. Его звали теперь настоящим именем. Ему даже устроили садик около павильона. Ему даже позволили выходить на улицу.

В свободное время он сажал цветы — золотистые гаарлемские тюльпаны.

На дверях павильона Бёттер написал:

Благословляю этот дом:
Тут стал алхимик гончаром!

Он был рад, что развязался с проклятым философским камнем. Август требовал теперь не золота, а фарфора.

Бёттер и Чирнхауз плавили пробы глин. Зажигательные зеркала сверкали на солнце с восхода до заката.

Работы было по горло. Надо было найти хорошую огнеупорную глину, из которой можно было бы делать круглые коробки — капсели, как их называли, для посуды. Ее нашли.

Надо было придумать новые печи для обжига посуды. Их строили в Альбрехтсбурге.

Надо было научить рабочих точить посуду — за это взялся мастер Эттебрехт.

Бёттер не спал по трое суток. Его помощники засыпали, стоя у печей.

Он не мог оторваться от милой работы.

КРАСНАЯ ПОСУДА

Король Август и Фюрстенберг приехали в Альбрехтсбург.

В подземелье при свете факелов Бёттер и его рабочие вынимали глину и кирпичи, которыми было заложено отверстие большой печи. Это был первый обжиг красной посуды. Печь топили пять дней, потом она остывала трое суток.

Король хотел видеть, как посуда выйдет из печи. У Бёттера дрожали руки от нетерпения, он яростно отбрасывал кирпичи, заглядывая в темное отверстие печи.

„Что там в капселях? Настоящая красная посуда или, может быть, одни бесформенные черепки?"

У него пересохло во рту.

Вот последний кирпич отброшен. Бётгер вынимает шершавую капсель и открывает ее.

На ее дне стоят хорошенькие красные чашки. Ни одна не лопнула, ни одна не погнулась в печи, — они твердые и звонкие. От них струится теплота, как от живого тела.

Август и Фюрстенберг рассматривают чашки, — они довольны.

Бётгер велит принести ведро с холодной водой. Он вынимает чашку из середины печи, еще совсем горячую, и окунает ее в холодную воду. Если чашка лопнет... Но она не лопается; она такая же твердая и звонкая, только от воды заблестела и стала еще красивее.

— Настоящий фарфор! — говорит Фюрстенберг.

— Да! — отвечает ему чашка чистым звоном.

ПОБЕДА

Когда красная посуда выходила из обжига, она была не блестящая, а матовая. Зато ее можно было полировать и гранить, как драгоценный камень. Тогда она блестела. Ее можно было расписывать золотом и разными красками. Бётгер составил черную глазурь. Он делал красивые черные вазы и расписывал их серебром.

Фабрика выпускала не только чашки, тарелки, кувшины и вазы, но и маленькие лепные фигурки.

Прежде всего сделали статуэтку самого Августа. Эта фигурка сохранилась до сих пор. Август стоит одетый в латы, плащ его развевается, голова гордо откинута, брови нахмурены. Так и кажется, что он сейчас потребует, чтобы вы сварили ему золота, или отправит вас на виселицу.

Еще делали из глины смешных человечков — паяцов и карликов.

На пасхальной ярмарке в Дрездене богатые купцы

и ламы в кружевах наперебой покупали посуду и фигурки из красного бёттеровского фарфора.

Слава о нем пошла по всей Германии.

СМЕРТЬ ЧИРНХАУЗА

Дело двигалось, фабрика работала. Чирнхауз и Бёттер придумывали вместе, как бы сделать белую фарфоровую посуду.

Неожиданно Чирнхауз заболел и умер. Умирая, он шептал: „Победа, победа!" — потому что каждый день приносил маленькой фабрике какое-нибудь открытие.

Каждый день Бёттер с сияющими глазами показывал своему другу и учителю новую посуду, то черную глазурованную, то красную, отполированную новым способом. Они вместе обсуждали, как сделать, чтобы на глазури не было трещинок, и как составить настоящие китайские краски, которые обжигались бы в огне и не смывались водой.

Но Чирнхауз умер, и работа остановилась. Бёттер заперся в своей комнате и загрустил. Он совсем забросил фабрику. Мастера работали без него. Дни и недели не приносили с собой ничего нового.

„Надо продолжать работу", писал Фюрстенберг безутешному химику, а Бёттер писал в ответ: „Я не могу одолеть моего горя, лишившись высокого и любимого друга".

Иногда Бёттер подходил к полочке у стены и брал в руки маленький бокальчик. Этот бокальчик сделал Чирнхауз из какой-то беловатой глины и завещал его Бёттеру. Бокальчик был мутно-прозрачный, похожий на стекло, а стенки у него были кривые и помятые.

Вздохнув, Бёттер ставил его на полку. Нет, это не похоже на китайскую белую посуду. Но если бы Чирнхауз был жив, если бы им работать, как прежде, вместе, — они наверное разгадали бы китайский секрет!

Они нашли бы такую белую глину, которая выхо-

дила бы из огня белой и твёрдой, а не мутной и помятой, как этот бокальчик.

Бёттер бросался на кровать и закрывал глаза. Он тосковал.

ПУДРЕНЫЙ ПАРИК

Придворный лакей, с гербом Августа на ливрее, передал Бёттеру записку из дворца. Король желает поговорить с директором фабрики. Король ждет его в своем кабинете в полдень; он хочет знать, какую новую посуду сделал Бёттер за последний месяц.

Никакой новой посуды не было.

Бёттер сидел в кресле и равнодушно смотрел в окно. Там, над башнями Альбрехтсбурга, поднимался дым из обжигательных печей.

Придворный парикмахер Френцль, подпрыгивая и напевая, пудрил Бёттеру высокий кудрявый парик, в котором химик должен был явиться на прием к королю.

Френцль смазал парик жиром, чтобы к нему приставала пудра. Потом, взяв большую миску с пудрой, он обмакивал в нее кусок пакли и паклей накладывал пудру на локоны.

— А в городе, ваша милость, — болтал парикмахер, — в городе говорят: хороша наша красная посуда, а далеко ей до китайской. Вот, говорят, поплывут на весеннюю ярмарку голландские купцы, повезут с собой китайские вазы, и блюда, и чашки, накупит опять король для графини Козель...

— Замолчишь ли ты, Френцль! В ушах трещит от твоей болтовни. Кончай скорее! — Досада перекосила бритое лицо химика.

— Сейчас, сейчас! — заторопился парикмахер. — Вот только виски подпудрю! — И он завертелся вокруг химика, ловко прилаживая к его вискам крутые локоны.

Бёттер рассеянно сгреб пальцами пудру со своего пудермантеля. Он устало глядел в окно, где всё еще дымили трубы, и машинально вертел пудру между большим и указательным пальцами. Пудра скатывалась в липкий комочек.

Вдруг химик вздрогнул, брови его сдвинулись, глаза впились в белый комочек.

Он вскочил так быстро, что Френцль не успел отдернуть руки, и большой парик сбился на левое ухо.

— Чем ты меня пудришь, бездельник? — закричал он, схватив парикмахера за плечи. — Откуда ты взял эту пудру?

Парикмахер разинул рот и задрожал.

— Да отвечай же, чортов подмастерье! — кричал Бёттер и тряхнул беднягу так, что у него подогнулись коленки и он, охнув, сел на пол.

— Ну! — Бёттер стоял над ним красный и задыхающийся.

— Но я думал, — хныкал парикмахер, — вашей милости известно... французская пудра дорога, у нас все пудрятся этим... все пудрятся шнорровской землей.

— Шнорровская земля! — воскликнул Бёттер и схватил миску с пудрой. Он то подносил пудру к окну, то пересыпал ее между пальцами, то пробовал на язык, то растирал на ладони. Потом он круто повернулся и в развевающемся пудермантеле, с париком, сбитым на левое ухо, выбежал из комнаты. Тяжелая дверь лаборатории громко захлопнулась за ним.

Френцль все еще сидел на полу и таращил глаза, когда слуга внес в комнату парадный камзол, треуголку и короткую придворную шпагу. Постучав в дверь лаборатории, он сказал:

— Ваша милость, в полдень — прием у короля.

Ответа не было. Слуга пожал плечами и, хитро подмигнув Френцлю, постучал пальцем себе по лбу. „Наш химик помешался", решили оба.

Что такое была эта шнорровская земля? Купец Шнорр ехал однажды верхом из Дрездена в местечко Ауэ. Подъезжая к мосту через речку, он заметил, что сам он, и лошадь его, и тюк с товарами покрыты белой пылью, словно выпачканы мукой. Он оглянулся.

Копыта его лошади оставляли белые следы на земле, а немножко поодаль было на дороге место, сплошь покрытое белой пылью, словно кто-то рассыпал там десятки мешков с мукой. У края дороги виднелся холмик, — должно быть, размытый дождями, целый холмик белой земли.

Шнорр повернул лошадь и подобрал горсть белой пыли. Она была мягкая, чуть-чуть липкая, ни дать ни взять — пудра.

На другой день Шнорр приехал с мешками. Набрал в них белой земли и увез в город, а там истолок землю в ступке и пустил в продажу вместо пудры. Ее охотно покупали.

Тогда было время пудреных париков, и пудры выходило у всех больше, чем у нас зубного порошка.

Эта шнорровская земля была не что иное, как белая каолиновая глина, та самая, из которой в Кин-течене делали фарфор. Вертя комочек пудры в руках, Бёттер заметил, что она лепится, как глина, и тяжелее, чем обычная пудра.

„А вдруг это — та самая белая глина, которую искал Чирнхауз?" мелькнула у него мысль. Он бросился в лабораторию поскорее сделать пробу и забыл, что строгий Август сидит в своем кабинете и нетерпеливо стучит пальцами по золотой табакерке, поджидая невежливого химика.

В тот день Август его не дождался.

ПОДОБНЫЙ ЦВЕТКУ НАРЦИССА

Шесть чашек, шесть белых фарфоровых чашек стояли перед Бёттером, отражаясь в красной полированной доске стола, как в зеркале.

Солнце золотом струилось сквозь желтые занавески в окнах малой залы королевского дворца.

Шесть ученых мужей в высоких париках, с орденскими

лентами через плечо, шесть ученых советников Августа прикладывали лорнеты к глазам и рассматривали работу Бётгера.

Чашки протяжно звенели, если по ним щелкали пальцем. Их донышки казались желтоватыми и чуть-чуть прозрачными, если их разглядывали на свет. На их блестящей белой поверхности не оставалось ни царапинки, ни трещинки, если по ней скребли ножом.

Это был настоящий фарфор — не хуже китайского.

Скрипя гусиным пером, ученый секретарь собрания записывал по-латыни на большом листе с королевским гербом:

„Сего числа господин Иоганн Бётгер показал нам сделанный им фарфор, полупрозрачный, молочно-белый, подобный цветку нарцисса".

Да, это был настоящий белый фарфор!

Бётгер сделал эти чашки из шнорровской земли, прибавив к ней алебастр. Шнорровская земля заменяла собой белую глину — као-лин, а алебастр служил плавким прозрачным веществом — вместо китайского пе-тун-тсе.

Старинный секрет был раскрыт.

Если бы Чирнхауз увидел эти чашки, как бы порадовался он новой победе! Какой ласковой улыбкой осветилось бы его строгое лицо!

О, Чирнхауз помог бы Иоганну составить краски, чтобы расписать эти белые фарфоровые чашки; он нашел бы причину, почему на некоторых из них выступили маленькие черные точки! Но Чирнхауз давно уже был в могиле.

Бётгер ходил по зале, пока придворные ученые шептались над его чашками и, скрывая свою зависть, поздравляли его, суля королевские милости и награды.

Король?

Король отнял у него свободу, король шесть лет держал его, как в тюрьме, за бессмысленной работой — варкой золота. Сколько раз король грозил ему виселицей! Чего еще ждать ему от короля?

Бётгер почувствовал, как он ужасно устал, устал до смерти. Теперь король всю жизнь не отпустит его от себя из боязни, что изобретатель фарфора

продаст свой секрет другим королям и те тоже откроют у себя фарфоровые фабрики.

Свободы не будет, из этого проклятого круга нет выхода. Тоска сдавила горло изобретателю.

Он повернулся и вышел из дворца, нахлобучив шляпу.

ИГРА

Не глядя ни на кого, Бёттер быстро шел по улицам на окраину города, туда, где в кривом переулке примостился подозрительный кабачок.

Хозяин, толстый пьяница с воровским лицом, встречал Бёттера как старого знакомого. Одноглазый банкомет в дырявом атласном кафтане, с грязными кружевами на манжетах, бросал засаленные карты на стол, покрытый лужами пива и остатками еды.

Обтрепанные занавески на окнах не пропускали дневного света. Здесь изобретатель играл в карты с продувными парнями и пил пиво стакан за стаканом.

Нет нужды, что в карманы одноглазого банкомета переходили червонцы, данные химику на постройку новых печей на фабрике, на жалованье фабричным рабочим.

Изобретатель хотел забыться в пьяном веселье, в азартной игре. Не вспоминать больше, что молодость прошла в трудах над проклятым философским камнем, что он раб короля — до самой смерти.

Забыться — это было самое главное! А король? Пусть же платит король за отнятую у него молодость, чорт побери!

И Бёттер ставил на карту червонец за червонцем. Под вечер распахнулась дверь, открывая заревое небо.

Приземистый человек с хитрыми глазами входил

и садился за столик позади Бёттера. Его пристальный взгляд заставлял химика обернуться.

Бёттер выпивал залпом стакан и стучал кулаком по столу.

— А, шпион? Шпион его величества? Пррр-о-клятая собака уже пронюхала, что я...— говорил он заплетающимся языком и ронял тяжелую голову на стол.

Шпионы короля следили за каждым его шагом.

ТЮРЬМА ИЛИ ФАБРИКА

Замок Альбрехтсбург был окружен глубоким рвом. Подъемный мост, скрипя железными цепями, опускался над ним только для тех, кто знал условный знак или тайное слово.

Никто чужой под страхом смерти не смел проникнуть в замок. Там шла тайная работа — выделка фарфора.

Когда новый мастер или рабочий поступал на фабрику, ему завязывали глаза и долго вели по каменным коридорам, пахнувшим плесенью. Потом снимали повязку с его глаз.

Он видел себя в большой подземной зале с каменными сводами. Мшистые стены освещались красноватым светом факелов. В углах царила темнота.

За длинным столом сидели неведомые люди в масках и черных мантиях.

Справа от стола стоял священник с бледным суровым лицом, поднимая в руке распятие.

Слева виднелась дыба, висели кандалы, и палач держал в руке блестящий топор.

Посередине на возвышении стоял черный гроб. Череп и скрещенные кости были нарисованы на нем белой краской.

— Клянешься ли ты, что не выдашь никому тайны фарфора? — спрашивал ужасным голосом черный человек, поднимаясь из-за стола.

— Клянусь! — отвечал мастер, у которого начинали дрожать колени и холодела спина от всей этой чертовщины.

— Повторяй за мной, — говорил человек: — клянусь, что я не выдам тайны фарфора ни отцу моему, ни сыну, ни брату, ни жене, ни другу, ни врагу, ни за деньги, ни за ласку, ни ради спасения жизни. Я не открою этой тайны ни священнику на исповеди, ни врачу на моем смертном одре.

Мастер повторял всё это слово за словом, хотя у него от страха заплетался язык.

— Клянись на распятии! — говорил священник и прижимал холодный металл креста к губам мастера.

Тогда черный человек обращался к другим, сидевшим неподвижно, как статуи.

— Вы слышали, братья, как поклялся этот человек? Что ждет его, если он нарушит клятву?

— Смерть! — восклицали „братья", и, вскочив на ноги, они, все как один, выхватывали блестящие кинжалы и, потрясая ими в воздухе, кричали:

— Смерть!

— Смерть! — гудел палач, размахивая топором.

Потом они бросались на полумертвого от страха мастера и, схватив его, кто за ноги, кто за руки, укладывали в гроб.

Лежа в гробу, мастер трижды повторял слова клятвы, и трижды „братья" махали кинжалами и вопили: „Смерть!"

Потом наступала темнота.

Кто-то натягивал повязку на глаза мастера, выволакивал его из гроба и опять вел по коридорам на свежий воздух.

Когда с него снимали повязку, его глаза резал дневной свет, в ушах еще звучали крики „смерть" и страшное лязганье кинжалов. Одурелый входил он в мастерскую и не сразу понимал, что ему говорил старший мастер.

А мастерские были устроены так, что рабочие одной мастерской не знали, что делается в соседних, и никогда не виделись с другими рабочими.

Тот, кто промывал глину, понятия не имел, что в эту глину подбавляют, чтобы сделать фарфор.

Токари, точившие посуду из массы, не знали,

из чего составлена масса и как обжигается посуда в печи.

Только три человека — Бёттер и его помощники доктор Бартоломэи и Штейнбрюк — знали все, что творилось на фабрике.

Все это делалось для того, чтобы сохранить в тайне секрет фарфора, чтобы никто, кроме Августа, не мог устроить у себя фарфоровую фабрику.

ИСКУСИТЕЛИ

С тех пор как фабрика в Альбрехтсбурге стала выпускать белую посуду, такую же твердую и прекрасную, как китайская; с тех пор как Бёттер нашел синюю кобальтовую краску, которой можно было писать узоры на белых чашках; с тех пор как он научил мастеров делать блюда и чаши с кружевными стенками и лепные фигуры, — Август стал есть и пить на своем фарфоре и от гордости еще выше задрал свой острый нос на толстом лице, а все другие короли и князья только и видели во сне, как бы им узнать секрет фарфора и завести свои фабрики.

Их шпионы, переодетые то бродячими торговцами с тюками за спиной, то нищими, то печниками, ищущими работы, так и шныряли вокруг Альбрехтсбурга и, облизываясь, как коты на масло, следили за клубами дыма, поднимавшегося над старинными башнями.

Они подкарауливали рабочих, выходивших из замка по праздникам, угощали их добрым пивом в кабачках и старались выведать о том, что творилось на фабрике.

Особенно охотились они за „арканистами"; так назывались рабочие той мастерской, где составлялась фарфоровая масса.

Одного „арканиста" итальянские шпионы напоили сонным зельем, уложили в карету и увезли. Он очнулся только за итальянской границей.

Ему дали денег и велели устроить фарфоровую фабрику в Милане.

Но из этого ничего не вышло. „Арканист" не знал секрета фарфора.

Иные рабочие, усталые от своей фабрики-тюрьмы, были не прочь бежать из Альбрехтсбурга. Они обещали шпионам открыть секрет фарфора, если им дадут денег и свободу.

Они убегали из замка, захватив с собой запас фарфоровой массы, сколько им удавалось утащить с фабрики.

Попав ко двору князя или епископа (как это было в Берлине, в Фульде и в Бранденбурге), рабочий делал несколько чашек и тарелок из украденной массы. Его покровитель уже трубил повсюду, уже хвастался своей „собственной" фарфоровой фабрикой, которая заткнет за пояс саксонскую фабрику короля Августа.

Слухи об этом доходили до Саксонии.

Разгневанный Август призывал к себе Бёттера и кричал, что теперь все потеряно, секрет утащили у него из-под носа! Никто больше не станет покупать саксонскую посуду. Где слава, где деньги, которые обещал Бёттер?

Бёттер устало хмурился.

— Они не знают нашего секрета, государь. У них ничего не выйдет, — отвечал он.

Так оно и случалось.

Бежавший рабочий изготовлял несколько чашек из украденной массы, а когда его запас кончался, он не знал, что делать дальше: составить массу сам он не умел. Скоро его прогоняли прочь.

Но Август приказывал еще строже следить за рабочими.

Ни одна пылинка массы не должна была выходить за ворота Альбрехтсбурга. Рабочих били плетьми и сажали в подземелье, если находили кусочки массы в их карманах, если подозревали, что они хотят бежать.

Порядки на фабрике становились еще жестче.

Бётгер устало хмурился.

Он понимал, что рабочим хотелось на волю из фабрики-тюрьмы. Он сам был рад удрать от Августа хоть на край света.

ЗЕРКАЛО

Бётгер был уже не похож на веселого студента в дырявом плаще, постучавшего когда-то в дверь старого Кирхмайера.

Лицо его обрюзгло. Серые мешки набухли под глазами. От бессонных ночей над очагом алхимика, в едком дыму серы, от бессонных ночей за попойками его веки стали красными и воспаленными. Глаза слезливо щурились от дневного света. Светлые кудри заменил высокий парик на лысой голове.

В редкие хорошие дни, когда он составлял новую массу или чертил планы новых печей, его взгляд становился острым, ловкие руки безошибочно отвешивали на весах нужные количества глины и алебастра, шаги по-юношески легко звучали в подземельях Альбрехтсбурга.

Но это бывало редко. Обычно он был вялым тучным человеком, внезапно приходившим в дикую ярость, если его помощники ошибались в работе.

Его дрожащие пальцы сыпали на карточный стол червонцы Августа и расплескивали бокалы с вином.

Он устроил себе пышную квартиру, увешал ее стены французскими гобеленами, покрыл полы пушистыми коврами. Он заказывал себе золоченые кафтаны, и его манжеты были из лучшего бельгийского кружева. Бётгер торопился жить, наверстать ушедшую молодость.

Тратить деньги ему помогал молодой ювелир Конрад

Гунгер. Он приносил Бёттеру золотые табакерки, кольца и другие побрякушки и соблазнял его покупать эти вещи.

Конрад Гунгер охотно садился за карточный стол, когда нехватало партнера.

Конрад Гунгер всегда был рад устроить попойку.

Конрад Гунгер умел провести за нос купцов, когда они приходили к Бёттеру требовать уплаты долгов. Он занимался делами Бёттера больше, чем своим ювелирным ремеслом.

Конрад Гунгер привел однажды в дом Бёттера приезжего итальянского графа, игрока в карты. Они начали крупную игру. Длинные пальцы графа, в фальшивых бриллиантах, не раз передвигали по зеленому столу столбики золотых монет. Золото из кармана Бёттера переходило в кошелек графа. Игра длилась всю ночь.

Бёттеру не везло. Он проиграл сначала свои деньги, потом деньги, которые надо было отдать рабочим на фабрике, он проиграл дорогой перстень — подарок Фюрстенберга. Он хотел бросить игру.

— Не волнуйтесь, господин Бёттер! — учтиво говорил итальянский граф. — Не стоит бросать игру из-за такого пустяка. Давайте играть на слово. Мы с вами сочтемся.

Бёттер хотел отыграться, он стал играть на слово. Скоро он проиграл столько, что не мог бы выплатить долг и в три года.

Свечи треща догорали в канделябрах, над их дымящими фитилями горбатился нагар. Бёттер встал из-за стола и отошел к окну. За тяжелой портьерой розовело небо.

Проигрыш был огромный. Король не согласится его уплатить.

Итальянский граф опозорит Бёттера. Это был долг чести, игра на честное слово.

Тупая тоска опять мучила Иоганна.

Исхода не было.

— Не надо грустить, уважаемый хозяин, не надо грустить! — пропищал тонкий голос за его спиной. — Тому, у кого в руках великий секрет, грустить не приходится. Все пути к богатству и славе перед ним открыты.

Бёттер вздрогнул и обернулся. Маленький человек в рыжем парике, молчавший весь вечер и не игравший в карты, стоял перед ним и буравил его взглядом острых, настойчивых глаз.

„Кто это? — мелькнуло у Бёттера в голове. — Ах да! Это — секретарь графа".

А тот не сводил с него глаз и выводил высоким фальцетом:

— Что значит жалкий проигрыш для того, кто владеет великим секретом? Богатство и слава в его руках.

— Что вы хотите сказать? — рванулся к нему Бёттер.

Лицо рыжего человека сморщилось.

— Приходите завтра к обедне в церковь Екатерины на Старой площади, — быстро прошептал он и отошел.

Полусонный граф рассовывал по карманам червонцы. Гости расходились, только Гунгер спал в углу на диване, глупо раскрыв рот.

Свечи догорели, на столе валялись карты и стояли бокалы с остатками вина. Бёттер нагнулся, чтобы поднять упавшую на ковер карту. Это был червонный король, похожий на Августа. Бёттер бросил его под стол.

Утренний полусвет проходил в окна. Бёттер сделал несколько шагов в пустой комнате, и вдруг ему навстречу из простенка вышел тучный немолодой человек в парчовом кафтане. В сумерках утра его лицо казалось обрюзгшим и серым. Бёттер остановился, тот остановился тоже.

— Да ведь это мое отражение в зеркале, — сказал Бёттер вслух и хотел расхохотаться над своей ошибкой.

Но смех не прозвучал. Глаза у его двойника были грустные. От носа к углам рта шли глубокие складки. Он тоже вышел из комнаты, где на стенах висели гобелены и блестела золоченая мебель, за которую не было заплачено купцам. На нем был такой же дорогой кафтан.

— Так вот каким я стал! — сказал Бёттер и сел у зеркала в кресло. Вся прошлая жизнь стала проходить перед ним.

Где теперь его мать, майор Тиман и учитель Цорн?

Иогани не видал их ни разу с тех пор, как девятнадцатилетним мальчиком бежал из Берлина.

Разве Август отпустит его когда-нибудь на свободу, в родные места?

Иоганн вспомнил, как однажды, в воскресенье, мать надела на него новую курточку, и майор Тиман повел его с собой на ярмарку. Иоганну было семь лет. В лотке у ярмарочного торговца майор купил ему розового пряничного коня, которого было жаль есть, такой он был хорошенький!..

Колокол ударил к ранней обедне. Бёттер вспомнил рыжего человека.

Что значили его слова? Все равно, — хуже, чем есть, быть не может. Он решил пойти к обедне и, взяв шляпу, вышел из дома.

ДОНОС

„В ночь со второго на третье декабря в доме у директора королевской фабрики Иоганна Бёттера была крупная игра.

„Иоганн Бёттер проиграл большую сумму денег итальянцу, называющему себя графом Буратгини. Третьего декабря, в восьмом часу утра, Иоганн Бёттер вышел из дому. Я последовал за ним, как обычно. Придя на Старую площадь, он вошел в церковь Екатерины, где в левом приделе к нему подошли итальянец Буратгини, называющий себя графом, и другой итальянец, называющий себя секретарем графа. Удалившись в затененный колоннами угол, они стали беседовать. По словам, долетевшим до меня, я понял, что итальянцы предлагали Иоганну Бёттеру бежать из Саксонии и продать секрет фарфора за 100 тысяч талеров, обещая ему уплату долгов в Дрездене и милость одной коронованной особы. Они передали Иоганну Бёттеру письмо, прочитав которое,

он задумался и обещал дать ответ нынче ночью. Все трое условились встретиться ночью на Каменном мосту и разошлись. Иоганн Бётгер направился в Альбрехтсбург, а итальянцы в трактир, где они проживают.

„Я последовал за Иоганном Бётгером и, показав караулу пропуск его величества, прошел на фабрику. Придя на фабрику, Иоганн Бётгер снял свой кафтан и, надев рабочее платье, пошел в мастерские. Это дало мне возможность вынуть из кармана его кафтана полученное им от итальянцев письмо и доставить его вашему величеству...“

Август скомкал донесение шпиона и схватил приложенное письмо, на котором стояли печать прусского короля и собственноручная подпись: „Фридрих“.

— Схватить эту гадину, заковать, на виселицу его! Нет, сначала на дыбу! Вот где измена, вот — в самом сердце фабрики! Бётгер — предатель, клятвопреступник! Вот его благодарность за всю нашу любовь к нему! — кричал Август прямо в лицо Фюрстенбергу, задыхаясь от гнева и бегая по кабинету. Он остановился и топнул ногой. — А вы — вы всегда защищали его! Я бы давно вздернул его на виселицу, этого шарлатана-алхимика, но вы говорили: „Нет, он себя еще оправдает“. Вот он оправдал себя, ваш талантливый химик!

Август передохнул и разразился снова:

— Мало ему того, что мы дали ему свободу ходить по улицам, что я платил его долги, что он жил, как принц, что я ежедневно осыпал его благодеяниями, — ему этого было мало! Он предал меня тем же пруссакам, от которых я когда-то спас его жизнь. Я отогрел змею на своей груди!

Август растрогался своей добротой и был готов пустить слезу. Фюрстенберг смущенно молчал. Может быть, он вспоминал тот вечер, семнадцать лет тому назад, когда молодой студент, рыдая, просил отпустить его на свободу — учиться в университете — и клялся, что он не знает секрета золота. Может быть, Фюрстенберг не был уверен, что Август ежедневно осыпал химика благодеяниями.

— Но, ваше величество, — сказал он наконец, — ведь мы не знаем, что ответит Бётгер агентам прус-

ского короля. Может быть, он еще откажется. Подождем до ночи!

— Как! — заорал Август, — мы будем ждать, чтобы он сегодня передал им рецепт массы! Вы с ума сошли! Арестовать его немедленно, посадить в тюрьму! Слышите?

Фюрстенберг, опустив голову, вышел из комнаты.

СНОВА ТЮРЬМА

Когда Бёттера ввели в тюремную камеру и замок глухо защелкнулся за ним, он невесело усмехнулся — „не привыкать стать!" Решетчатое окно и покрытые плесенью стены напомнили ему келью в Альбрехтсбурге, где он варил золото. Здесь не было только чугунной печки для опытов, да на его руках теперь гремели кандалы. Зато Август не требует больше ни золота, ни фарфора. Можно отдохнуть. Давнишняя знакомка, виселица, не отпустит его на этот раз. Она всю жизнь охотилась за ним. Бёттер устал бегать от нее.

Агенты прусского короля, выдававшие себя за итальянцев, были арестованы. Они показали, что Бёттер согласился передать им секрет фарфора. Теперь ему не удастся убежать от виселицы. Зато можно отдохнуть.

В ушах у него звенело, голова была как свинцовая. Сторож внес кружку с водой и кусок хлеба. Замок опять защелкнулся.

С трудом передвигая ноги, Бёттер отошел от окна и лег на деревянную койку. Стены камеры закружились перед ним, пришлось закрыть глаза.

Он постарался вспомнить, о чем он думал, когда удар колокола напомнил ему о рыжем человеке. Он думал тогда о чем-то хорошем. Ах да! — о розовом пряничном коне.

Как было весело на ярмарке! Карусели вертелись под музыку. Иоганн сидел верхом на белом лебеде

и, замирая от страха и восторга, мчался куда-то. Разноцветные флаги и золоченые тряпки вихрем неслись вместе с ним.

Карусель остановилась, а ему еще казалось, что все плывет кругом в сияющем вихре под волшебную музыку.

У лотка, пахнувшего корицей и еще чем-то сладким, майор Тиман купил Иоганну розового пряничного коня с черными изюминками вместо глаз. Потом они вошли в лавку и выбрали синюю шаль с пунцовыми розами — для мамы. Купец ловко складывал ее вчетверо, чтобы с поклоном отдать ее майору, как вдруг Бёттер вспомнил, что это был не купец, а аптекарь Цорн.

Бёттер ясно увидел перед собой аптекаря в черной шапочке на макушке. Он учил Иоганна скатывать пилюли из муки с водой.

— Бери осторожнее, мальчик, двумя пальцами, — услышал Бёттер знакомый голос аптекаря, — бери и катай комочек. Вот так — раз, два!

Из пальцев аптекаря выкатился круглый шарик. Иоганн тоже хотел катать пилюли, но вспомнил, что у него заняты руки, он все еще держал розового коня, и пилюли у него не выходили. Впрочем, это были не пилюли, а шнорровская земля, которую он собрал из складок пудермантеля.

Вот кто был настоящим изобретателем фарфора — аптекарь Цорн! Ведь это он когда-то выучил Иоганна скатывать пилюли. Без него Иоганн не скатал бы шарика из шнорровской земли, не нашел бы белую глину. Смешно, что это не приходило ему в голову раньше!

Иоганн громко захохотал.

Потом ему показалось, что он лепит большую вазу с фигурными ручками. Ваза превратилась в голову Августа, и вышло так, что Иоганн держит короля за уши.

— Пора на виселицу, — сказал Август и превратился в червонного короля. Он созвал своих червонных валетов, и они, пища, потащили Иоганна куда-то.

Вдруг раскрылась дверь, и вошел Чирнхауз. Карты с шипением рассыпались. Чирнхауз сел к Иоганну на койку и взял его за руку. Тогда стало хорошо и

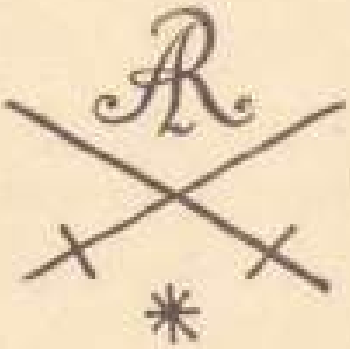
спокойно. Чирнхауз всё знал и всё простил Иоганну. Теперь было не страшно. Можно было спросить учителя и друга: отчего на фарфоре выступают иногда черные точечки?

Утром сторож вошел в камеру. Хлеб и вода стояли нетронутые. Узник громко бредил, смеялся и плакал и метался по койке.

— У него горячка, — сказал присланный от Фюрстенберга старый врач.

Так прошло много дней и ночей. Бёттер умер, не дождавшись суда. Он навсегда избавился от виселицы.

А фабрика продолжала работать и выпускать прекрасный фарфор на зависть всем королям в Европе.



Глава четвертая

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД ВЕСЕЛОЙ ЦАРИЦЫ

В земное недро ты, химия,
Проникни взора остротой
И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой.

М. Ломоносов.

СЛУХИ О ПЕТРЕ

Когда Бётгер был еще молод и под именем „барона Шрадера" стряпал золото в дворцовой лаборатории, ему не раз приходилось слышать о русском царе, великане Петре.

Русский царь Петр помог Августу стать королем Польши. Не мудрено, что имя Петра было на устах у всех королевских придворных.

Про Петра было что рассказать. Его царство — огромное, полуднкое русское царство — на востоке доходило до таинственного Китая, а запад его граничил с Польшей.

Ходили слухи, что в его столице — Москве — медведи и волки среди бела дня рыщут по улицам; зато в домах у бояр так много золота и серебра, и драгоценных камней, что их складывают в бочки.

Но не этому дивились германцы, а тому, что Петр был самым странным государем на свете. Он откалы-

вал такие штучки, на которые не решился бы ни один самый захудалый князек в Европе из боязни уронить свое княжеское достоинство. Петр одевался в грубое платье голландских ремесленников. Он пил пиво и играл в шашки с простыми шкиперами. Он женился на прачке, а своим первым министром сделал уличного торговца пирожками, Сашку Меншикова.

Царь Пётр работал, как мастеровой. Он столярничал, чертил планы, строил корабли.

— Надо работать, — говорил он, и его дубинка учила лентяев и неженок, как надо работать.

Со смехом вспоминали придворные о том, как молодой Петр приезжал в Европу. Он не умел изящно кланяться и боялся поскользнуться на дворцовых паркетах.

— Русский дикарь, — говорили про него королевские придворные.

Этот русский дикарь всех засыпал вопросами. Этот невиданный царь хотел знать, что из чего и как сделано. Он останавливал своей рукой крылья ветряной мельницы, чтобы разглядеть, как они вертятся.

Он учился рвать зубы, анатомировать трупы, гравировать резцом на медных досках. Он хвалился королям, что знает четырнадцать ремесл.

— А из чего у вас делаются чернила? — спрашивал он у королей. — А чем у вас вырывают зубы? А из какого дерева вы строите мачты на кораблях? А чем вы лечите коров, если они не дают молока? Ну-ка, я взгляну, как у вас делаются кирпичи, да заодно покажите мне, из какой крупы варят кашу для солдат.

Разве короли могли ответить ему на эти вопросы? Они с усмешкой поглядывали на сильные, мозолистые руки Петра и чистили щеточкой бриллиантовые перстни на своих белых, изнеженных пальцах.

Петр хмурил брови над черными быстрыми глазами и уходил из дворцов на корабельные верфи, на фабрики и в мастерские — опять стучать молотком, лазать по лесам, выбирать мастеровых себе на службу.

Королевские придворные улыбались: его величество Петрус Примус не похож на монарха. Зато фабриканты и купцы хитро подмигивали друг другу. „Его

величество хорошо знает, чего он хочет! Он хочет, чтобы в стране развилась торговля. Уже собираются русские торговые люди в кумпанейства, складывают вместе свои капиталы, пускают их в обороты и заметно богатеют. Пойдут и наши товары в Россию — разбогатеем и мы. Что ни говори, а у его величества довольно верное соображение о пользе торговли!" — так хвалили Петра умные купцы и позволяли себе иногда похлопать его по плечу и звали его тихонько между собой „купеческим государем".

А между тем при Петре Россия становилась могущественной державой. Строились военные и торговые корабли, новые фабрики ткали полотна, сукна и тонкие шелка. Заводы плавили руды и отливали пушки, мортиры, ядра. Богатели русские купцы, и русские войска побеждали неприятеля. Союз с Россией был выгоден многим европейским коронам.

Когда Бёттера, под именем „господина с тремя лакеями", привезли из Кенигштейна в освобожденный от шведов Дрезден, он узнал, что шведов прогнали из Саксонии русские войска царя Петра. Не мудрено, что, когда дрезденская фабрика стала выпускать прекрасную белую посуду, Август приказал Бёттеру приготовить кофейный сервиз в подарок жене Петра Екатерине.

Бёттер наблюдал за исполнением этого заказа и вспоминал то, что слышал о Петре от мудрого Чирнхауза.

— Россия — полудикая, нищая страна, — говорил Чирнхауз. — Она отстала от Европы на пять столетий. Русские не умеют строить фабрики и заводы и вырабатывать изделия, нужные для торговли. У них нет даже дорог, гаваней и кораблей, чтобы перевозить товары. В стране нет торговли, — значит, нет денег.

„Царь Петр заводит торговлю в стране. Торговым людям от него почет, торговым людям в России теперь пути не заказаны. Они устраивают по-своему русскую жизнь. А длиннобородые бояре из древних родов держатся за старину цепко, упрямо, ненавидят все новое. Их-то и прогонит царь от своего двора

и ищет себе помощников среди расторопных да смышленых людей простого звания. А если он кутит с простыми шкиперами, сам вбивает гвозди в корабельные доски, называет прачку царицей и совершает другие поступки, неприличные для монарха, — то все это он делает, чтобы показать, что он плюет на старые русские обычаи и ненавидит старину.

„Сколько фабрик ему нужно устроить, чтобы сравняться с Европой! Я не удивлюсь, если он заведет у себя посудную фабрику. В России должны быть хорошие глины..."

ГОРОДОК САНКТ-ПИТЕР-БУРХ

В болотистых лесах на берегу Невы строился новый город. Солдаты царя Петра отвоевали это место у шведов. „Работные людишки" царя Петра пядь за пядью отвоевывали это место у зыбких, болотистых топей, у непроходимых лесов.

Они рыли каналы, проводили дороги, наводили плавучие мосты над широкой Невой. Немало погибло здесь солдат от яростной шведской картечи, а еще больше погибло „работных людишек" от голода, холода и цинги, от непосильной работы под безжалостными плетьми царских десятников. Городок строился на костях. Царь Петр не жалел людей. Он уже прикидывал в уме, сколько кораблей пойдут в плавание из новой гавани. Хлеб, лен, лес, пушнину, сало выменяют московские купцы на заморское золото.

Будет у царя золото — будет сила, будет крепкая власть. Стоит ли считать, сколько померло „работных людишек"?

На удивление Западу, вырастал на невском берегу невиданный новый город, прорезанный каналами, — Санкт-Питер-Бурх.

Рядом с убогими землянками „работных людишек" строились каменные дворцы для царя и его вельмож.

Украсить эти дворцы фарфоровыми вазами, как у королей в Европе,—вот чего захотелось Петру. Он выписал из Голландии расписные цветочные горшки из голландского фаянса и голубые узорные изразцы для печей.

Но больше всего ему хотелось устроить в Санкт-Питер-Бурхе свою русскую фарфоровую фабрику. Он стал приглашать мастеров из Германии.

Король Август, обязанный Петру многим, не посмел противоречить, когда его мастер Эггебрехт собрался в далекую Россию, чтобы устроить там фарфоровую фабрику.

Не понравилось ли мастеру Эггебрехту в городке Санкт-Питер-Бурхе, или не нашел он там подходящих фарфоровых глин, а, может быть, Август тайком приказал ему не находить их,—только он скоро вернулся домой, ничего не устроив царю Петру.

Тогда Петр послал своих глашатаев по московским площадям. Они созывали народ барабанным боем и выкликали охотника, который взялся бы устроить царю фабрику для выделки белой посуды, по примеру „саксонского порцелива". Бородатый купчина Афанасий Гребенщиков вызвался устроить такую фабрику. В местности Гжель, под Москвой, было много разных глин.

Из этих глин хотел Гребенщиков делать „порцелиновую" посуду. Но у него выходила не фарфоровая, а фаянсовая посуда, непрозрачная, незвонкая и темноватая в черепке.

Когда Петр умер, царица Екатерина и царица Анна Иоанновна не стали заботиться о том, чтобы устроить фарфоровую фабрику. Для царских дворцов ведь можно было покупать какую угодно дорогую, самую великолепную фарфоровую посуду — китайскую или саксонскую. Стоило ли открывать свою фабрику?

Преемники Петра не любили работать. Старая петровская дубинка, отставленная в угол, не раз скучала по их спинам.

Однажды, проезжая немецкий город Марбург, Петр говорил тамошнему физику, профессору Вольфу, о том, как нужны дельные молодые ученые для разработки природных богатств России. Петр умер. Прошло почти десять лет со дня его смерти, когда петербургская „Де сіянсъ Академія"[1] решила послать к профессору Вольфу троих русских студентов, чтобы он сделал из них опытных физиков и химиков. Это были — Михайла Ломоносов, Дмитрий Виноградов и Густав Райзер.

Студенты выехали из Петербурга на корабле в глухую осеннюю пору. Суровые ветры хозяйничали на студеном Балтийском море. Сизые, вздувшиеся валы ударяли в борт корабля и перекатывались через палубу. В бурю студенты сидели в маленькой темной каюте и прислушивались к скрипу мачт и глухим ударам валов. Где-то там, за водяными бурными пустынями, остался Кронштадтский порт, а еще дальше — родная Россия. Юноши вспоминали то детство в деревне, то школьные годы в Москве. Когда погода утихала, они выползали на корму и, сидя на свернутых канатах, следили за пенистым следом корабля на воде, или толковали о том, что ждет их в Германии.

— Эх, обидно мне, что я немецкого языка не знаю,— вздыхал рослый, широкоплечий Ломоносов.— Сколько времени пройдет, пока я по-немецки выучусь и лекции смогу слушать.

— Да куда тебе спешить?

— А как же не спешить? Если бы ты, как я, взрослым парнем притащился в Москву, чтобы грамоте учиться, да на тебя малые ребята в школе пальцами показывали бы: „Смотри-де, болван лет в двадцать пришел латыни учиться", так и ты заспешил бы,— говорил Ломоносов.

---

[1] Так называлась Академия наук.

Ему было уже двадцать пять лет.

При слове „школа" лукавые огоньки сверкнули в глазах Виноградова.

— А помнишь, Миша, — сказал он, — как в школе бывало. Холод, пальцы мерзнут, герр лерер ходит по классу в шубейке и палкой дерется. Все ему кажется, что мы между собой разговариваем, а это у нас в животах с голоду бурчит. Помнишь, он только крикнул: „Силенциум!",[1] а у тебя в животе — „ку-ка-реку". Ой, умора! Попало тебе тогда палкой по пальцам.

Виноградов звонко расхохотался. Ломоносов тоже не удержался от улыбки.

— Так! — воскликнул Райзер, хлопнув себя по колену грифельной доской, на которой он молча писал какие-то цифры. — Так, я сейчас высчитал, что из тех денег, что академия будет нам давать на квартиру, стол и ученье, у нас еще рублей сто в год останется. Можно будет и книжки покупать и одеться получше.

— Неужто сто рублей останется? — радостно удивились Виноградов и Ломоносов. От такой огромной суммы у них закружились головы.

— Эх, поживем, братцы! — воскликнул Ломоносов. — Не то, что в академии — на алтын в месяц.

— Завтра придем в гавань, — сказал им шкипер в вязаной фуфайке, проходя на корму, чтобы осмотреть якорь.

На рассвете корабль подошел к Травемюнде. Студенты, затаив дыхание, смотрели на вставшие из утреннего тумана зубчатые башни, острые колокольни и чешуйчатые купола церквей, таких непохожих на русские.

Крутобокие корабли из Индии и Америки выгружали на пристань неведомые товары. На каменных плитах набережной суетились голландцы в полосатых чулках, рыжие англичане и даже желтые, раскосые китайцы. Крестьянки в полосатых юбках, с белыми чепцами на головах погоняли ослов, запряженных в тележки с овощами. Пастор в треугольной шляпе и белом воротнике большими шагами переходил площадь.

Виноградов так зазевался на дюжего матроса-негра

[1] Тихо.

на соседнем корабле, что упустил шапку из рук. Она нырнула в зеленоватую воду за бортом.

А матросы уже крепили причал, сбрасывали сходни на берег, и новая жизнь встречала студентов шумом, суетней и чужим, непонятным говором.

У ПРОФЕССОРА ВОЛЬФА

Профессор Вольф закрыл книгу и сдвинул очки на лоб, когда перед его домом застучали колеса почтовой тележки. Он вышел на крыльцо и обнял приехавших запыленных студентов.

— Надеюсь, что вам будет хорошо жить у меня и вы оправдаете надежды своей родины, станете хорошими учеными, — сказал он.

Пока Райзер бойко барабанил ему по-немецки приветствие от русской „Де сіянєсъ Академія", два других студента молча глазели.

Ломоносов вдумчиво уставился глазами в лицо старого профессора. Он рассматривал его розовые щеки, его светлые глаза, окруженные морщинками, и седые волосы, торчавшие из-под бархатной шапочки. Он старался за добродушной внешностью угадать знаменитого ученого, прославленного большими знаниями и острым умом.

На мальчишеском лице Виноградова быстро сменялись — любопытство, застенчивость и лукавая усмешка. Он успел разглядеть, что из кармана ученого физика торчит томик латинских стихов, что в дверь выглядывает какая-то старушка в крахмальном переднике, в маленькой гостиной на окошке вьется зелень, на ковре играет котенок, а в растворенную дверь видны книжные полки, физические приборы и рабочий стол профессора.

Старая Эмма провела студентов наверх, в светлую комнатку, где их ждали миски и кувшины для умывания и три белых кровати.

На другой день началось ученье.

Профессор Вольф от души хотел сделать из этих студентов дельных и энергичных ученых, в которых так нуждалась Россия.

Студенты были на редкость способные. Освоившись с немецким языком, они с жадностью ловили каждое слово лекций. С горящими глазами, забыв обо всем на свете, они проделывали опыты под руководством профессора. Их любовь к науке обещала, что в будущем они сами станут двигать науку дальше. Сколько мыслей, проектов и мечтаний таили в себе их встрепанные мальчишеские головы!

ПРОКАЗНИКИ

Третий год учения подходил к концу.

— Нет, Митя, не пойду. Довольно пошалопайничали, пора и честь знать, — говорил Ломоносов, садясь у окна и собираясь читать, несмотря на быстро наступавшие сумерки. — Я больше не хочу старого Вольфа огорчать.

— Вот мы и вздуем долговязого Отто за то, что он русских студентов порочит и старику на нас наябедничал. Уж я расквашу ему нос за русских студентов, — горячился Митя Виноградов, грозя кулаком воображаемому врагу. — Вот и Райзер со мной пойдет.

— Что до меня, — отозвался белокурый Райзер, занятый чисткой своей куртки, — то я пойду из дому просто потому, что старая Эмма не даст нам больше свечи в комнату. Она боится, что мы сожжем дом. Не сидеть же, право, весь вечер в потемках.

— Ну, пойдем, Миша! — взмолился Виноградов. Он подошел к Ломоносову и потихоньку вынул у него книгу из рук. — Да что с тобой сталось? Давай гулять, пока можно. Вот вернемся в Петербург, небось оттуда никуда не удерешь. Постой... Слышишь?

За окном над островерхими крышами Марбурга вставал тонкий молодой месяц. Город затихал. Вдруг издали донеслось пение. Это студенты гурьбой проходили по улицам.

Внизу у калитки кто-то свистнул. Митя Виноградов ответил радостным свистом, прыгнул на окно, свесил ноги и, уцепившись за водосточную трубу, скользнул вниз. За ним молчаливо последовал Райзер.

Широкоплечий Ломоносов, колеблясь, остановился перед окном, но когда песня опять грянула и он различил голоса своих товарищей, он махнул рукой и тоже прыгнул в окно.

В нижнем этаже у полуоткрытого ставня стоял старый профессор и перед сном курил трубку. Он видел, как три студента один за другим перебежали палисадник и скрылись за забором. Он не остановил их, но брови его озабоченно сдвинулись.

ОТЪЕЗД

На другой день профессор не вышел пить кофе. Он в своем кабинете разбирал иностранную почту. Студенты сидели за столом, тихие, как мыши, виновато опустив головы. Густав Райзер сонно хлопал глазами. У Мити Виноградова на лбу синела огромная шишка. Михайла Ломоносов был совсем грустный и, кончив уроки, засел в угол со своей тетрадью. Он морщил лоб, кусал перо и зачеркивал что-то в тетради. Он писал стихи.

Весь день студенты особенно прилежно сидели над книгами, а на кухне старая Эмма отражала натиск горожан, пришедших к профессору с жалобами.

Старый сторож ратуши, стуча деревянной ногой, рассказал ей, что ночью студенты зажгли фейерверк на голове у памятника курфюрсту, плясали кругом

и орали песни. Он хотел затрубить в рожок, чтобы созвать других ночных сторожей, но только дунул — из рожка вылетел едкий порошок и засыпал ему глаза. Пока он прокашлялся и прочихался, студентов и след простыл.

Экономка бургомистра жаловалась, что студенты напугали ее до полусмерти. Ночью в ее окошко заглянула страшная морда с огненными глазами.

— Добрый вечер, — сказала морда и влетела в комнату. Это была выдолбленная тыква с зажженной свечой внутри. Студенты насадили ее на палку и подняли в окошко набожной старухи.

Лавочник принес счет за разбитое стекло, парикмахер — за чортиков, нарисованных на вывеске, и, наконец, в кабинет профессора ворвался сам разъяренный юстицрат [1] и потребовал высылки из Марбурга студента Виноградова, разбившего нос его единственному сыну — долговязому Отто.

Вечером профессор позвал в свой кабинет Ломоносова. „Ну, верно, отчитывает Михайлу", решили Виноградов и Райзер. Ломоносов вернулся от профессора бледный и заплаканный. Вольф получил приказ от академии отправить бесшабашных студентов в Фрейберг к профессору Генкелю, который должен был обучить их горному делу и взять их в ежовые рукавицы.

„Студенты уехали отсюда двадцатого июля утром, — писал Вольф в Петербургскую академию. — Из-за Виноградова мне пришлось много хлопотать, чтобы предупредить его столкновения с разными студентами. Отъезд русских воспитанников освободил меня от многих хлопот... Когда они увидели, сколько долгов за них приходится платить, они стали раскаиваться и не только извиняться передо мной, но и уверять, что они впредь хотят вести себя совершенно иначе и что я нашел бы их совершенно другими людьми, если бы они только ныне явились в Марбург. При этом особенно Ломоносов от горя и слез не мог вымолвить ни слова".

---

[1] Юстицрат — судебный советник, юстиции советник.

Каменистая дорога круто поднималась вверх. Городок Фрейберг лежал среди голых гор. Студенты подъехали к нему на рассвете. У входов в рудники мигали тусклые фонарики рудокопов. Черный удушливый дым стоял над плавильнями. Копоть покрывала лица прохожих, придорожные камни, тощие кустарники.

Студентам вспомнились зеленые рощи Марбурга и светлая, огибавшая их река.

— Неказистый городок...— вздохнул Райзер.

— Проживем! — ответил Виноградов. — В рудниках под землей побываем! Посмотрим, как в плавильнях железо огненной рекой течет! Ведь нас пошлют в плавильни, Михайла?

Ломоносов кивнул головой.

Горный советник Генкель принял их не сразу. Они дожидались его перед потухшим очагом в пустой комнате. За стеной спорили два голоса.

— Не дам я тебе ни гроша, дармоед! — выкрикнул злой стариковский голос.

— Ну, так сам чини себе крышу, скряга! — ответил другой, молодой и звучный. Мимо студентов прошел парень в рабочей куртке и захлопнул за собой дверь. Тогда из внутренних комнат вышел Генкель.

— Добро пожаловать, мои милые, милые питомцы! — сказал он, любезно улыбаясь. Злой голос за стеной — это был его голос. Маленькие глаза быстро оглядывали студентов. Острый носик словно принюхивался к каждому. Виноградов съежился.

„На язычке мед, а под язычком лед!" мелькнуло у него в голове.

— Доверие, мои молодые друзья, прежде всего доверие к вашему наставнику! — скороговоркой сказал Генкель, будто угадав мысли Виноградова. — Я старше вас годами, я богаче вас опытом, я, смею думать, ученее вас! Высокочтимая и достохвальная

Академия наук поручила вас мне, я буду вашим наставником и другом!

Он вынул из кармана письмо Академии наук и прочел его вслух. Лица студентов вытянулись. Академия писала, что отныне они будут получать лишь половину прежнего жалованья. Деньгами будет распоряжаться Генкель. Без его позволения им нельзя ни купить тетрадку, ни сходить к цирюльнику, ни отправить письмо. Если они не станут слушаться Генкеля, с ними поступят, „как с негодяями и преступниками".

— Как с негодяями и преступниками! — выкрикнул довольный Генкель и стал поучать студентов. Они должны стать прилежными, послушными, терпеливыми, скромными, богобоязненными молодыми людьми. А главное — они не должны ничего скрывать от своего наставника!

Генкель говорил долго. У Виноградова уже сосало под ложечкой от голода, когда горный советник, наконец, замолчал и повел студентов в их комнаты. Это были убогие, полутемные каморки. На столах лежали инструменты и потрепанные книги. Генкель вручил каждому студенту счет на купленные для него вещи.

Ломоносов задумчиво потрогал расхлябанный, ржавый циркуль, купленный Генкелем, и взглянул на Райзера. Райзер подмигнул левым глазом.

Циркуль был старый, негодный, а по счету Генкеля за него было заплачено два талера. Столько-то и новый циркуль не стоил!

МИНЕРАЛОГИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ

Для студентов пришли трудные времена. Генкель выдавал им в день по четыре гроша на обед, по два гроша на ужин и ни пфеннига больше. Щеки студентов побледнели, кафтаны продрались на локтях, башмаки прохудились.

По утрам, стянув потуже свои пояса, молодые люди отправлялись в минералогиче-

ский кабинет Генкеля. Там в больших и малых ящиках были разложены образцы глин, камней и руд. На каждом образце был ярлычок с латинской надписью.

Пока Генкель ссорился с работниками или допекал воркотней своих домашних, студенты зубрили наизусть латинские названия минералов.

— Адáма — глина, сýльфур — сера... — твердил Виноградов, — плюмбáриус... Михайла, что такое плюмбариус? Я забыл.

— Свинцовая руда! — сердито отвечал Ломоносов. — Только не стоит запоминать, Митя. Что толку, если мы эти латинские слова, как попугаи, затвердим, а настоящих свойств минералов знать не будем? Генкель о них ничего не говорит. Таится он от нас, что ли, со своей наукой?

Так проходили утренние часы. Генкель прибегал в кабинет улыбающийся, суетливый. Он сразу принимался болтать о своей великой учености. Его-де все в Европе любят и уважают. Никто лучше его не знает свойств разных глин и камней. Недаром его почтили званием „горного советника".

Однажды Ломоносов не выдержал и попросил его рассказать о свойствах глин. Генкель сделал таинственное и важное лицо. Наука о глинах — трудная, никому не ведомая наука, но он, Генкель, эту науку преодолел.

— Глины бывают животные, минеральные и растущие! — сказал он.

— Михайла! — шепнул Виноградов. — Какие это „животные" глины?

Ломоносов толкнул его, чтобы он замолчал.

— По своим свойствам глины делятся на верхние и нижние, на жесткие и мягкие, на мокрые и сухие... — продолжал Генкель.

— Сударь, — сказал Ломоносов, — мне кажется, любую глину можно размочить в воде, тогда она станет мокрой, а если высушить ее в печке — она станет сухой. Разве сухими и мокрыми бывают только какие-то особые глины?

Генкель молча, поверх очков поглядел на студента. Потом он приосанился и с презрением ответил:

— Вы, конечно, разумеете простые глины, из которых лепят горшки. Это доказывает, что вы — невежда.

Наука не занимается такими пустяками. Я же говорю вам о сухости и о влажности, об этих великих законах естества, описанных Аристотелем и Гиппократом, и Галленом, и Томазиусом, и Вечелиусом, и Пуфендорфом...

Тут Генкель выговорил столько замысловатых имен, что у Виноградова голова пошла кругом. Ломоносов нахмурился и больше ни о чем не спрашивал.

Наболтавшись вдоволь, Генкель принимался за опыты.

Как назло, ни один опыт ему не удавался. То колба оказывалась с трещиной, то вода не закипала, то кислоты проливались не туда, куда нужно. Ломоносов сидел мрачный, Виноградов глядел в окно и считал ворон, Райзер усердно таращил глаза, чтобы не задремать.

Однажды Генкель взял кусочек свинца и взвесил его на весах. Потом он прожег свинец на огне и снова взвесил его. Оказалось, свинец весил теперь больше, чем прежде. Тогда Генкель объявил, что свинец увеличился в весе потому, что во время прокаливания он соединился с теплотворном. Теплотвор — это огненная материя, разлитая во всем мире. От нее происходят тепло, жар, огонь.

Генкель приказал Ломоносову повторить это объяснение.

— Господин горный советник, — угрюмо сказал Ломоносов. — Мне кажется, что никакого „теплотвора" в природе нет. Если выстрелить из ружья, всегда выскакивает искра, даже на морозе. А ведь на морозе не бывает никакой „огненной материи" в воздухе.

— Ах вот как, вам кажется! — вскрикнул Генкель. — Вы очень самоуверенны, господин студент! Объясните нам, бедным невеждам, отчего же свинец стал тяжелее, чем был, и откуда происходит вообще тепло? Мы охотно вас выслушаем.

Ломоносов покраснел. Он глубоко вздохнул и сказал с трудом:

— Свинец стал тяжелее потому, что при прокаливании в поры свинца проникло какое-то вещество и, соединившись со свинцом, увеличило его вес. Откуда

происходит тепло — я наверное еще не знаю, но думаю, что оно происходит от вращения мельчайших частиц, из которых состоят все тела. Я наблюдал при опытах...

Тут Генкель откинулся на спинку стула и громко захохотал.

— Вы делали опыты! А кому нужны опыты такого пачкуна? Прославленные мужи в своих ученых трудах доказали, что теплотвор рождает тепло, — значит, так оно и есть. Вращение частиц! Слыхал ли кто-нибудь о чем-либо подобном? У вас вращение в мыслях, молодой человек! Но я прекращу это вращение, так и знайте!

Генкель приказал студентам записать рассуждение о „теплотворе" в свои тетрадки и выучить его наизусть.

С этого дня Генкель возненавидел Ломоносова.

ПЕРВАЯ ОДА ЛОМОНОСОВА

— Вот уж тюрьма, так тюрьма. Прямо и не приснится никому такое житье! — сказал Виноградов, тыкая гусиным пером в замерзшие чернила. В его каморке было давно не топлено.

— Набедокурили в Марбурге, вот теперь и маемся! — грустно ответил Райзер и уткнулся в книгу.

Обычно Виноградов и Райзер по вечерам занимались вместе, а Ломоносов запирался у себя и что-то писал. Но в этот раз он неожиданно вошел в каморку Виноградова с листом бумаги в руках и плотно притворил за собой дверь.

— Слушайте, друзья! — сказал он. — Я написал оду в стихах и хочу послать ее в Академию в Петербург.

Студенты закрыли свои учебники и приготовились слушать. Лучшим русским поэтом считался тогда Василий Тредиаковский. У Ломоносова была книжка

с его стихами, и студенты знали их наизусть. Прославляя императрицу Анну, придворный стихотворец писал так:

Анну даровал нам бог ныне толь велику,
Нельзя без твоей воспеть гарфы то мне зыку:
Мудрых всех во свете глав есть се мудрейша,
Разумом разумных всех та весьма острейша.

Прочесть такие стихи без запинки было очень трудно. А какими тусклыми, тяжеловесными и непонятными показались они студентам, когда Ломоносов прочел свою оду! Стихи Ломоносова были живые, звучные, размеренные. В ту осень русские войска взяли турецкую крепость Хотин. Ломоносов описал в стихах кровавую битву. Обращаясь к побежденному турку, он спрашивал его:

Где ныне похвальба твоя?
Где д рзость? Где в бою упорство?
Где злость на северны кран?
Стамбул, где наших войск презорство?
Ты днешь своим велел ступать,
Нас тотчас чаял победить;
Янычар твой свирепо злился,
Как тигр на росский полк скакал.
Но что? внезапно мертв упал,
В крови своей пронзен валялся.

Виноградов и Райзер слушали, побледнев от волнения.

— Знаешь, Михайла, я думаю, что ты великий стихотворец, подобный древнему Горацию! — сказал, помолчав, Виноградов.

Ломоносов отослал свою оду в Петербург. Там она наделала шуму. Как, безвестный студент, шалопай, крестьянский сын, написал такие прекрасные стихи, до каких не додумались академики в чинах! Ломоносов сразу прославился.

Но слава — славой, а студенты сидели голодом. Академия не прислала Генкелю его жалованья в срок, и он стал задерживать присланные для студентов деньги. Из-за каждого гроша он ворчал часами. Над Ломоносовым Генкель издевался и всячески преследовал его. Однажды он приказал студенту растереть выпаренную ртуть. От ртути поднимались едкие, ядовитые пары. У Ломоносова и так уже голова

кружилась от голода, а тут ему стало совсем дурно. Бледный, он подошел к Генкелю и попросил избавить его от этой работы.

— Белоручка! — зашипел Генкель. — Строить из себя великого ученого вы умеете, а простой опыт вам не под силу! Ступайте и делайте, что вам велят, пока я не выгнал вас из лаборатории!

Тогда Ломоносов опрокинул склянку с ртутью в очаг и, хлопнув дверью, выбежал вон.

— Я уйду из Фрейберга! — сказал он товарищам. — Я не могу больше учиться у Генкеля! Того и гляди, отколочу его, хоть он и горный советник!

— Ну, потерпи, друг, — просил Виноградов. — Нам только бы выучиться поскорее, а там все трое от него уйдем! Академия, небось, даст нам денег, когда мы станем учеными!

— Куда ты пойдешь, где будешь жить, посуди сам! — уговаривал Ломоносова Райзер.

— В Фрейберге нечего есть и нечему учиться! — упрямо твердил Ломоносов. — У любого рудокопа узнаешь о рудах больше, чем у Генкеля. Он только и умеет, что свои латинские ярлычки писать, а ни в химии, ни в металлургии ничего толком не знает.

Товарищи все же уговорили его попросить прощенья у Генкеля. Ломоносов стал попрежнему ходить на занятия. Но не прошло и трех недель, как Генкель объявил студентам, что отныне он будет давать им еще меньше денег на еду, чем прежде, всего по три гроша в день. Студенты долго совещались в комнате Виноградова. Наконец они решили итти к Генкелю и объявить ему, что жить на эти деньги нельзя.

— Вы что же, — думали, что я позволю вам пиры задавать? — закричал Генкель. — Может быть, вы думали, что я из собственного кармана вас буду кормить? Напишите письмо в Россию, — пускай ваша императрица подаст вам милостыню. У нее денег много.

Ломоносов шагнул вперед.

— Мы не за милостыней пришли! Мы требуем своих денег, — сказал он и облизал сухие губы.

— Своих денег? А какого цвета эти денежки? Я их что-то не видел! — смеялся Генкель.

— Неправда!—крикнул Ломоносов.—Вы покупаете на наши деньги инструменты у вашего шурина и платите за них втридорога! Вы берете с нас за комнаты столько, сколько ни одна комната в городе не стоит! Вы заставляете нас платить за ваши уроки, а сами только болтаете, вместо того чтобы нас учить!

Генкель вскочил с кресла.

— Негодяй! Щенок! Вон отсюда! Вон, тотчас же!— крикнул он и бросился на студента с кулаками. Ломоносов тоже размахнулся, но товарищи схватили его за руки. Они поспешили увести его из лаборатории. Генкель бежал за ними и толкал Ломоносова в спину, осыпая его ругательствами.

В тот же вечер Ломоносов сложил свои вещи в котомку и ушел из Фрейберга. Товарищи, расставаясь с ним, поклялись ему в вечной дружбе.

— Где-то наш Михайла теперь? Бродит, верно, без крова, буйная голова!—часто вспоминал Виноградов.

Ломоносов действительно скитался по Германии без крова. Он сходил пешком в Голландию, вернулся в Марбург и после многих приключений уехал наконец в Россию.

Виноградов и Райзер прожили в Фрейберге еще четыре года. Генкель скоро перестал с ними заниматься и послал их работать на горные промыслы. То-то обрадовались молодые люди, вырвавшись на волю! Денег у них было попрежнему мало, но, работая с охотой, они забывали нужду. В горах студенты нашли себе учителей—горняков, рудокопов, плавильщиков, которые хотя и не говорили по-латыни, но зато различали на-глаз все горные породы и знали их свойства не из книг, а из опыта. У них научились студенты прокладывать шахты, распознавать руды, строить машины для горных работ и печи для выплавки металла. Райзер собрал хорошую коллекцию горных камней и берег ее, как зеницу ока. Виноградов полюбил работу возле плавильных печей—блеск огня, гуденье пламени, огненные струи расплавленного металла.

Студенты стали учеными химиками-металлургами. Даже сам Генкель не решался спорить с ними. Они знали теперь побольше, чем он.

На Невской перспективе, близ моста через речку Фонтанную, толпился разночинный люд. Там к высоким воротам, усыпанным светящимися плошками, подлетали разолоченные придворные кареты.

— Посторонись, дай дорогу! — во всю глотку кричали скороходы в развевающихся лентах и перьях, огромными скачками бежавшие впереди карет.

Султаны из перьев колыхались над головами лоснящихся лошадей, золоченые колеса громыхали по дощатой мостовой, алые кафтаны гайдуков, стоявших, как статуи, на запятках, развевались по ветру.

— Царица, царица едет! — крикнул кто-то, и дюжие квартальные осадили толпу. На дороге появилась карета, сверкавшая, как солнце. В ее золоченые стенки были вделаны зеркала. Зеркала сверкали даже на спицах колес. За стеклом виднелась кипа кружев и лент, усыпанных бриллиантовыми блестками. Это была царица Елизавета, дочь Петра.

— На колени! — рявкнул квартальный и бухнулся на землю, а за ним и остальные — торговки, мастеровые, инвалиды, и толстый купчина, и захожий мужичонка с узелком на батожке — полегли брюхом в студеные грязные лужи, которых по осени было немало на Невской перспективе.

Карета с кипой кружев пролетела в ворота.

Во дворце — хрустальные люстры сверкали огнями свечей. На мраморных хорах играл оркестр крепостных музыкантов графа Разумовского. Царица Елизавета праздновала окончание постройки этого великолепного дворца. В только что отделанных залах толпились придворные. То-то было блеска, сверканья и шелеста шелков!

Бархатный занавес, распахнувшись, открыл сцену. С потолка на веревке спустили краснощекого парнишку в рыжем парике, с лирой в руках. Он изобра-

жал Аполлона — греческого бога. Звонким голосом пропел он стихи, восхвалявшие Елизавету. Затем с потолка спустились на веревках девять девушек в разноцветных платьях — кто с дудочкой, кто с циркулем, кто с масками в руках. Это были девять муз. Они тоже пропели поздравление Елизавете и протанцовали какой-то танец, боязливо косясь за кулисы, откуда француз-танцмейстер грозил им здоровенной дубинкой.

Столы ломились от множества блюд. Чего тут только не было! Индейки, начиненные орехами, телячьи уши, разварные медвежьи лапы, лосиные губы, жареная рысь и селедочные щеки. У царицы и ее министров приборы были из чистого золота. Посреди стола красовалась золотая горка с бриллиантовой буквой „Е". Банкет длился три часа.

Наевшись и напившись, гости стали хвалить драгоценные вещи, которые были во дворце, — и шелковую французскую мебель, и мраморные статуи, и хрустальные люстры, а потом стали рассказывать, какие еще бывают диковинки на свете.

Кто-то сказал царице, что у одного купца в Амстердаме есть зеленая обезьянка, такая маленькая, что в орех входит.

Царица, причудница и капризница, обернулась к графу Воронцову:

— Вот бы нам достать эту мартышку для украшения дворца.

— Будет исполнено, матушка-царица, — склонил Воронцов свой пудреный парик.

— А что же вы, барон, ничего о нашем дворце не скажете? — спросила Елизавета молодого саксонского посла, который весь вечер молчал и ничего не хвалил. — Думаю, что у вас в Саксонии такого блеска и роскоши и во сне не увидишь.

Саксонец вспыхнул.

— Точно, государыня, золотом и драгоценными камнями русский двор богаче всех дворов в Европе. Точно, государыня, не на золотых блюдах кушает саксонский король, а на простых фарфоровых, которым, однако, по красоте и благородству нет равных ни у кого. Я же если и видел у вас фарфоровую посуду, так вся эта посуда саксонская, помечена саксонским гербом — двумя мечами, а русской такой не видал.

Черные брови Елизаветы сдвинулись. Ей стало обидно.

— Почему, граф, до сей поры в Петербурге порцелиновой фабрики не заведено? — гневно спросила она графа Разумовского.

— Будет исполнено, матушка-царица, — ответил Разумовский, пряча улыбку румяных губ в кружевной воротник. — Будет исполнено. На своем порцелине кушать будешь и другим государям в подарок пошлёшь, матушка.

Так прихотливая царица решила судьбы зеленой обезьянки амстердамского купца и русской фарфоровой фабрики.

Плошки шипя догорали над воротами. Гайдуки и кучера толпились у сеней, поджидая господ. За воротами черной зияющей пустыней казалась Невская перспектива. Сквозь деревья редко-редко где сверкал огонек.

По всей огромной России „работные людишки" кровавым потом зарабатывали гроши, голодая и холодая, чтобы отдать их жестоким сборщикам налогов, чтобы сверкающая царица выстроила себе еще один великолепный дворец, чтобы она заказала себе пятую тысячу платьев (у нее уже тогда было их четыре тысячи), чтобы граф Разумовский задавал роскошные пиры на золотой посуде.

На деньги, истраченные на один такой пир, можно было прокормить целую деревню в течение года.

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ

Теплым летним вечером по сходням голландского корабля сошли на петербургскую набережную два молодых человека с тощими дорожными мешками. Это были Виноградов и Райзер. Они привезли из-за границы изрядный запас знаний, большую охоту работать для родной страны и голодные молодые желудки.

Жадными глазами смотрели

они на Петербург. В закатных лучах берега Невы казались нарядными. Пылали окна Меншиковского дворца на Васильевском острове, кроваво красили кирпичные стены „Новой Голландии" на противоположном берегу. Вдали золотился адмиралтейский шпиль.

Товарищи пошли разыскивать своего друга Ломоносова.

Он вернулся на родину на два года раньше их и теперь уже работал в Академии наук.

В академическом доме сырая, темная лестница привела их к двум каморкам, где жил Ломоносов.

В облаках табачного дыма из-за стола, заваленного бумагами, встал им навстречу хозяин, радостно протягивая руки. За окном блестела Нева.

Когда гости уселись на колченогих табуретках, Райзер окинул взглядом убогую каморку и сказал:

— Что ж, Михайла, говорят, ты теперь на царской службе, в славу входишь, а по жилью твоему — сказать этого нельзя.

Ломоносов усмехнулся.

— У академии денег нет. Знаешь, чем жалованье платят — не мне одному, а и старым ученым? Книгами. Бери книжки из типографии и продавай на рынке. А книжки у нас — товар неходкий. Грамотных людей мало. Кто до книжек охоч, — студенты да профессора, — у тех у самих денег нет, а купцы наши только божественные книжки читают, а не научные. Вот и сидим с книжками, да без денег.

— Миша, а помнишь, ты мечтал в Петербурге химическую лабораторию устроить. Вышло из этого что-нибудь? — волнуясь спросил Виноградов и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Возьми меня в лабораторию, больно хочется мне по химии работать. Я, знаешь, в Фрейберге опыты начал.

Ломоносов безнадежно махнул рукой.

— Подавал я заявления, просил академию позволить мне лабораторию устроить. Подумай, первая была бы лаборатория в России. Ведь нам, химикам, работать негде, ни весов, ни приборов, ничего нет...

— Ну и что же?

— Один ответ: денег нет. Нет денег у нас на науку, Митя. Ничего тут не поделаешь. Я, как рыба об лед, бьюсь, чтоб академиков расшевелить. Они — как мухи

сонные, только о наградах да чинах думают... Эх, говорить не стоит...

Молодые люди сидели, как в воду опущенные.

— Зачем же нас учили, — тихо спросил Виноградов, — если работать нельзя?

Ломоносов засмеялся.

— Можно работать, Митя, только трудно очень. Еще мало у нас образованных людей — и вельможи наши, которые все дела вершат, сами едва грамотные. Ну, да ладно. Хотите, я лучше свои новые стихи прочту?

— Прочитай, прочитай, голубчик.

Ломоносов взял с полки толстую тетрадь серой бумаги и стал читать.

От чтения глаза его оживились. Размеренные, звучные строфы говорили о прекрасной земле, об ее глубоких морях, о бесчисленных звездах, о чудесных науках, которыми занимаются люди.

Он прочел:

О вы, счастливые науки!
Прилежны простирайте руки
И взор до самых дальних мест.
Пройдите землю и пучину,
И степи, и глубокий лес,
И нутр Рифейский и вершину,
И саму высоту небес.
Везде исследуйте всечасно...
Что есть велико и прекрасно.

В земное недро ты, химия,
Проникни взора остротой
И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой.

У Виноградова замирало сердце. Жить было хорошо. В окно была широко видна заря, и шпиль Адмиралтейства золотился в наступающих белых сумерках.

ШУТ

„...Я от всех, доселе выписанных иностранных бергмейстеров ни одного не знаю, который бы Виноградова во всех частях горной науки чем пе-

решел, но многие ему и в равенство не пришли", писал президент петербургской берг-коллегии, проэкзаменовав молодого Виноградова.

Берг-коллегия ведала горным делом, добычей руды из земли, выплавкой из нее металлов, поисками полезных минералов и глин.

Виноградов, поразивший петербургских ученых своими знаниями, получил звание бергмейстера.[1] Но занятия ему пока не дали.

Пользуясь свободными летними днями, он бродил по Петербургу. Белые ночи не давали ему спать. Повсюду в городе он видел одно и то же.

Одинокими островками богатства и благополучия были немногие дворцы и дома вельмож — островками в огромном море нищеты и дикости.

Чем дальше отходил он от Адмиралтейства, чем больше углублялся в болотистые, лесистые дороги за заставами,—тем резче бросалась в глаза ужасная нищета петербургских „работных людишек".

Хмурые, кривые землянки ютились над болотами. На верфях работали грязные, полуголые плотники. С зари до зари стучали они топорами, чтобы вечером упасть там же, где работали, на старые рогожи и забыться тяжелым сном. Вдоль Невы бурлаки тянули баржи бечевой. Спутанные, свалявшиеся от грязи космы волос падали им на глаза. На шеях наливались от натуги жилы, готовые лопнуть. Они кашляли кровью.

Там на людях возили камень и песок для построек. Здесь нищие, с голодными глазами, одетые в ужасные лохмотья, показывали свои язвы, вымаливая грош. За заставами торчали колья. На них щерили синие губы страшные головы казненных.

А во дворцах светились огни, звучала музыка, и золоченые кареты подлетали к подъездам, высаживая из своей мягкой глубины сверкающих бриллиантами придворных.

---

[1] Горный инженер.

Виноградов бродил по городу и думал: „Говорят, у царицы Анны Иоанновны был шут. Он одевался так: одна нога в драном лапте и грязной онуче, другая — в шелковом чулке и атласной туфле с серебряной пряжкой. Одна половина платья из рогожи и дерюги, другая — из парчи и бархата. И на голове у него с одной стороны были шелковые завитые кудри над нарумяненной щекой, а с другой — щетинились грязные космы над измазанным сажей лицом. Не весь ли Петербург такой царский шут?"

Виноградов приходил к Ломоносову. Вместе с другими молодыми учеными они спорили, читали, делали опыты. Иногда Ломоносов читал свои новые стихи.

Тогда Виноградов забывал о страшном шуте.

БАРОН ЧЕРКАСОВ

Виноградов получил приказ ехать в Москву и явиться к барону Черкасову, управляющему кабинетом ее величества.

В доме Черкасова на Тверской было темновато и душно.

Сени были заставлены огромными сундуками.

По углам шептались какие-то старухи в старинных шушунах.

Барон Черкасов, чернобровый толстяк, вышел к Виноградову в засаленном шелковом халате, с лицом, еще опухшим от вчерашнего кутежа. Он хмуро взглянул на молодого ученого и приказал подать себе квасу. Он и не подумал пригласить Виноградова сесть.

— Ее императорскому величеству угодно порцелиновую фабрику в Петербурге учредить, — хмуро сказал Черкасов, отхлебнув квасу. — Для той фабрики выписали мы из Стокгольма немецкого мастера, в порцелиновом деле зело искусного. Чтобы порцелиновый секрет в русских руках был и сей мастер не вздумал бы оного таить или с ним уехать, а нас на бобах

оставить, порешили мы тебя к этому делу приспособить. Смотри, учись, примечай, как мастер посуду делает, и, — тут Черкасов стукнул кулаком по столу, — чтобы к Пасхе ее величеству фарфоровый презент был готов! Ступай!

Виноградов молча повернулся к двери.

— Нет, постой! Возьми в канцелярии бумаги и там узнаешь, что тебе надлежит делать. — И барон Черкасов, довольный тем, что одно дело свалилось с плеч, отправился подсчитывать свои карточные долги и готовиться к званому обеду.

Виноградов пошел в его канцелярию, где запуганный писец с гусиным пером за ухом сказал ему, чтобы он ехал в Гжель.

ГЖЕЛЬ

Испокон веков гжельские гончары возили в Москву горшки, миски, кувшины своего изделия. Они наполняли московские базары веселыми шутками и звоном блестящей, красно-коричневой посуды.

В гжельских оврагах под Москвой залегали разные годные для гончарного дела глины. Здесь брал глину для своей фаянсовой посуды и купец Афанасий Гребенщиков. Он встретил Виноградова, приехавшего на телеге из Москвы, у избы, отведенной для приезжих.

— Ну здравствуйте! — сказал он. — За глинкой приехали? Так, так, фарфоровую фабрику строить будете. Ну, ну, поглядим. Мы люди темные да неученые, а вы на немецкий манер выучены. Вам и книги в руки.

Гребенщиков поглаживал свою седую бороденку, и глаза его недоброжелательно и хитро поблескивали из-под косматых бровей. Виноградов вспомнил, что Гребенщиков сам хотел делать фарфор, да у него не вышло. Теперь он был недоволен, что это поручено другим.

— А что, немецкий мастер приехал? — спросил Виноградов.

— Как же, как же. Сидит спеся, ножки свеся, тебя ждет, — уже совсем недружелюбно ответил Гребенщиков и пошел в избу. Виноградов последовал за ним.

— Ах, мейн герр! — бросился к нему навстречу худой человек с вязаным шарфом на шее. — Ах, мейн герр! Как я рад, что вы наконец приехали. Никто здесь по-немецки не понимает; старик этот, между нами говоря, просто плутует со мной, — тараторил по-немецки незнакомец. — Мое имя — Гунгер, Конрад Гунгер, — сказал он, пожимая протянутую руку Виноградова. — Я — арканист, изобретатель саксонского фарфора. Будем друзьями.

— Как? — спросил Виноградов. — Ведь изобретателем фарфоровой массы, я слышал, называли Иоганна Бётгера?

— Мы с ним вместе, вместе работали, — заторопился Гунгер. — Ах, какой это был друг! Бывало обнимет меня и скажет: „Если бы не ты, Конрад, я бы никогда не сделал фарфора". Увы, его уже нет в живых! — Гунгер вытер глаза грязноватым платком.

— Что же, будете ямы смотреть? — грубовато спросил Гребенщиков. — Неровен час, снегопад начнется, тогда несподручно будет глину доставать.

Они втроем вышли из избы и отправились к ямам, откуда добывалась глина.

„МЫЛЯНКА" И „ПЕСЧАНКА"

В большом сарае они поставили кадки и чаны для промывания глины. Виноградов объездил и обошел все окрестные ямы, где только добывалась глина. Куски сухой глины были сложены под навесом.

Они искали такую глину, из которой можно было бы делать фарфор. Белая глина из деревни Жировки, которую

звали „мылянка", показалась Гунгеру подходящей.

— Это для фарфора, — сказал Гунгер.

Виноградов удивился. При промывании от этой глины очень трудно было отделить песок; от другой глины, „песчанки", песок отделялся легко.

— Вы ничего не понимаете, молодой человек, — сухо сказал Гунгер. — Позвольте мне лучше знать, я устраивал фарфоровые фабрики и в Вене, и в Венеции, и в Стокгольме. Ваша „песчанка" годится только для кирпичей. — И он передал Гребенщикову через Виноградова, чтобы тот приготовил и отправил в Петербург две тысячи пудов „мылянки" и шесть тысяч пудов „песчанки".

Гребенщиков замахал руками.

— Да в уме ли он, твой немец? Да у нас такой уймы глины никогда не копали. Да где же ее копать-то зимой?

Гунгер требовал, Гребенщиков не соглашался. На помощь пришел Виноградов. У гончаров, гжельских крестьян, была с лета накопана глина. Сколько нашли, столько и купили и отправили в Петербург.

ДОРОГА

Гунгер и Виноградов, кончив промывание глин, тоже выехали в Петербург — в крепкие рождественские морозы по санному пути. Они ехали девять дней.

Гунгер зябко кутался в шубу и не уставал бранить Россию и русских. Ему казалось, что с ним все плохо обращаются.

— Не забудьте, что я архаишст саксонского короля, — говорил он, — я привык, чтобы меня уважали. Любой король в Европе будет благодарен, если я предложу ему свой секрет.

Потом Гунгер начинал клевать носом и, неожиданно проснувшись от толчка на ухабе, говорил:

— Я подал просьбу царице Елизавете, чтобы она

пожаловала мне золотую медаль за изобретение. Как вы думаете, получу и эту милость?

— Но ведь мы еще не сделали фарфора из русских глин, — отвечал Виноградов.

Кругом простирались снежные равнины. В снегу серели редкие убогие деревушки. Днем путникам попадались по пути крестьяне на худых лошаденках, уныло тащивших в город какую-то поклажу.

Конвойные солдаты вели каторжников. Цепи гремели на их посиневших от мороза руках. У иных из них лица были заклеймены железом, а ноздри — вырваны.

Встретив партию каторжников на одном почтовом дворе, Виноградов спросил старика-арестанта, за что его заклеймили.

— Не только заклеймили, батюшка, батогами со спины кожу трижды спустили. Я на барина руку поднял, — ответил каторжник.

— С чего же ты так?

— А он моего сынишку велел собаками затравить. Собаки прелющие, на медведя ходили. Сынишка в дворовых служил у барина, да не угодил чем-то, так за то.

По ночам над снежными равнинами вставали звезды. Вдалеке завывали волки. Сидя в санях рядом с дремавшим Гунгером, Виноградов думал об огромной, несчастной русской стране.

Иногда, глядя на небо, он вспоминал стихи Ломоносова и потихоньку твердил их про себя:

Лицо свое скрывает день;
Поля покрыла мрачна ночь;
Вошла на горы черна тень;
Лучи от нас склонилась прочь;
Открылась бездна, звезд полна;
Звездам числа нет, бездне — дна.

Тогда жить становилось легче.

НА КИРПИЧНЫХ ЗАВОДАХ

— Но это невозможно! Это ужасно! — сердился Гунгер, бегая по небольшой светлице в бревенчатой избе. — Я не затем сюда приехал, чтобы меня отправляли куда-то на край света, в темную дыру, в болото! И это, вы говорите, место для фабрики?

Фарфоровая фабрика должна быть при дворе! Там я мог бы блеснуть моим искусством! Я привык к хорошему обществу, я живал во дворцах, а меня засадили в какую-то яму! Я не стерплю этого, я сейчас же напишу жалобу императрице!

И, схватив лист бумаги, Гунгер писал, ожесточенно разбрызгивая чернила гусиным пером.

Его и Виноградова отправили на кирпичные заводы, устроенные еще при царе Петре на левом берегу Невы, среди болотистого перелеска. Здесь они должны были строить фарфоровую фабрику.

Виноградову тоже было грустно. Десять верст дороги, совсем непроходимой в осенние дожди, отделяли его от города, от книг, от других молодых ученых и от друга — Ломоносова. Но главное было — поскорее бы начать работу, поскорее бы сделать фарфор, тогда, может быть, фарфоровую фабрику переведут в город, если Елизавета будет милостива.

Они с Гунгером поселились в одной половине бревенчатой избы, а в другой Гунгер хотел устроить точильное отделение. По указанию Гунгера строился амбар для обжигательной печи. Гунгер распоряжался, Виноградов переводил его требования на русский язык и смотрел за исполнением работ.

Черкасов скупился на деньги для фабрики.

— Нечего деньги бросать! — говорил он, когда Гунгер просил сделать на амбаре для печи черепичную крышу. — Нечего деньги бросать! — повторял он и отказывал Гунгеру в просьбе устроить каменный пол в избе, где будут промывать глину. Он не понимал, что черепичная крыша не загорится от вылетающих из печной трубы искр, что каменный пол предохранит глину от пыли.

— Работайте поскорее! — говорил он и прислал Гунгеру масленку из саксонского фарфора для образца.

А на новой фабрике дело не двигалось. В избах протекали крыши, рабочие не получали жалованья.

Что бы ни приказал Гунгер, все приходилось переделывать. Управляющий кирпичным заводом, итальянец Трезин, ссорился с Гунгером.

„Разговоры от Гунгера очень довольно приличны, а что будет впредь какой от него плод, мы не знаем,— писал Трезин Черкасову.— Слыхали мы, что был он в Гишпании и в Венеции, в Вене и потом в Швеции, но нигде будто плода от него не принесено, а правда или нет, впредь подлинно окажется".

Так прошел год.

ССОРА

Виноградов тосковал. Гунгер, запершись в своей комнате, что-то проделывал с глинами. Он не пускал Виноградова взглянуть хоть одним глазком на составление массы. Он не позволял Виноградову самому брать глину и делать с ней опыты. Он не хотел делиться ни с кем секретом фарфора. Виноградову ничего не оставалось делать, как переволить на русский язык распоряжения Гунгера или писать под его диктовку длинные жалобы Черкасову. Для того ли учился он химии?

Гунгер приказал рабочим толочь алебастр для массы в чугунных ступках.

— Мейн герр,— сказал ему Виноградов,— не лучше ли толочь алебастр в каменных ступках? От чугуна могут отскочить частички, они попадут в массу вместе с алебастром и испортят посуду при обжиге. Ведь металл при нагревании расширяется иначе, чем глина.

— Нет!— закричал Гунгер.— Кто из нас директор фабрики—я или вы? Вы во все суете ваш нос. Я не позволю вам больше ходить в мастерские!

В длинные осенние вечера Виноградов читал при свече в своей избе и переводил на русский язык латинские стихи. Он сделал полочку для книг над своей

кроватью и, когда у него бывали деньги, ездил в город и покупал книги и журналы.

Однажды, вернувшись домой, он заметил, что кто-то рылся без него в его тетрадках со стихами и читал книги.

Это Гунгер подсматривал, что пишет Виноградов, не открыл ли он секрет массы? Тогда Виноградову опостылело писание, и он стал уходить из дому.

В белые летние ночи невские берега были пустынны. Круглая луна вставала над лесистым мысом. По реке тихо скользили плоты. Костры на плотах бросали на воду красные отсветы. Из-за реки доносилось пенье. Виноградову вспоминались студенческие песни в Марбурге.

Он садился в челнок и сильно греб, пересекая реку наискосок. За рекой, в поселке Веселом, молодежь водила хороводы, и бойкая финка торговала вином. Туда уезжал Виноградов от гложущей тоски на фабрике, где ему не давали работать.

Однажды, вернувшись вечером домой, Виноградов запнулся в сенях за что-то мягкое и кубарем полетел на пол. Потирая ушибленное колено, он зажег свечу. На полу, поперек двери, храпел один из фабричных сторожей.

— Что ты тут делаешь? — спросил Виноградов, растолкав спящего. Сторож зевнул и, почесав в затылке, ответил:

— Да, вишь, Дмитрий Иванович, немец мне наказал...

— Что немец наказал? Под дверью валяться?

— Точно так, Дмитрий Иванович, тебя сторожить наказал. Как придет домой Виноградов, так, говорит, беги ко мне и скажи. Я, говорит, министру Черкасову отпишу, как он по ночам шляется.

Виноградов вспыхнул. Гунгер за ним шпионил!

— Прикажете к немцу пойти? — спросил сторож, подбирая одежонку с пола.

— Нет, я сам пойду!

Виноградов распахнул дверь в комнату Гунгера. Гунгер высунул нос из-под одеяла и опять спрятался.

— Вы не смеете шпионить за мной! — крикнул Виноградов. — Вы не даете мне работать, не пускаете меня в мастерские, а теперь еще хотите доносить на меня!

— Не кричите на меня, молодой человек! — вдруг заорал Гунгер, и кисточка на его ночном колпаке подпрыгнула вверх. — Я — ваше начальство!

— А! — Виноградов ударил деревянной табуреткой об пол и выбежал из комнаты.

На следующий день Черкасов получил жалобу, написанную рукой Гунгера.

Гунгер плакался, что „вчера в 11 часов ночи пяче чаяния" к нему ворвался Виноградов с палкой и кортиком в руках и угрожал его жизни. „Таким образом я здесь в России отпотчеван нахожусь! Я на фабрику до тех мест не пойду, пока сей безбожный человек при оной быть имеет".

„Безбожного" человека не отпустили с фабрики, но его вовсе отстранили от дела. Гунгер боялся, что ученый химик скорее, чем он сам, сделает фарфор.

Так прошел еще год.

АРКАНИСТ-НЕУДАЧНИК

Виноградов был прав: от глины „мылянки" плохо отделялся песок, из нее нельзя было делать посуду. После неудачных опытов с „мылянкой" Гунгер принялся делать фарфор из „песчанки". Из первого обжига посуда вышла непрозрачная, без глянца и желтого цвета. Она была непохожа на фарфоровую.

— Это оттого, что печь топилась сосновыми дровами, — сказал Гунгер.

Ему привезли березовых дров. Из этого обжига посуда вышла еще хуже. Гунгер сказал, что плохо сложили печь. Печь переделали. Посуда вышла еще желтее. Печь опять переделали. Вместо посуды из обжига вышли какие-то желтые лепешки.

— Кто-то заколдовал печь! Это нечистая сила наворожила! — говорил Гунгер, сам желтый от злости, как его посуда. Он опять заперся в своей комнате и что-то делал с глинами. Он клялся Черкасову, что он

„все порцелиновое искусство и науку совершенно знает" и, если его оставят в покое, он через год покажет „существительную порцелиновую пробу, которая саксонскому порцелину ни в чем не уступит".

Год не принес ничего нового. Гунгер не знал секрета фарфора. Тогда он предложил устроить царице уже не фарфоровую, а фаянсовую фабрику. Черкасов в ответ послал ему „апшит" — приказ о том, что он уволен, и паспорт для выезда из России. Так кончилась работа в Петербурге таинственного „арканиста", какие тогда странствовали по всей Европе, хвалясь знанием „китайского секрета" и соблазняя то одного, то другого тщеславного царька устройством фарфоровой фабрики.

Пирушки с Бёттером не научили Гунгера химии.

Черкасов поручил Виноградову сделать фарфор.

ПОБЕДА ХИМИКА

„Дело порцелина химию за основание и за главнейшего своего предводителя имеет", писал Виноградов в своем журнале, куда тщательно записывал все свои опыты с глинами.

Он работал дни и ночи, радуясь, что ему можно работать, как когда-то работал Бёттер в павильоне над Эльбой.

Из гжельских глин он выбрал глину „черноземку", сероватого цвета. Он стал подбавлять к ней кремень или кварц и алебастр.

Глину распускали в воде, много раз процеживали через сита, потом сушили в печах. Кремень или кварц прокаливали в горнах, потом толкли в ступках, теперь уже не в чугунных, а в каменных. Потом мололи на мельницах так, чтобы кремень и кварц превратились в мелкий порошок.

Потом Виноградов смешивал глину, кремень или кварц и алебастр и пробы обжигал в печи. Он без конца делал опыты, прибавляя то больше кремня, то

больше алебастра, потому что от того, сколько войдет в массу того или другого, зависели белизна и крепость посуды.

Посуду обжигали сначала в небольших угольных горнах — „откаливали", потом расписывали ее синей краской — кобальтом — и покрывали глазурью. Глазурь состояла тоже из кремня и алебастра, к которым подбавляли мелу.

Потом посуду ставили в дровяную печь. Посуда должна была выйти из огня белой, звонкой и блестящей.

Виноградов с тетрадью в руках не отходил от печи. Он прислушивался к треску дров, присматривался к цвету пламени и, прильнув к слюдяному окошечку печи, ждал минуты, когда поставленная в огонь проба накалится так, что начнет светиться.

Он записывал в свою тетрадь:

„Закрытого огня было два часа, открытого — пять с половиной. Дрова были олонецкие, сухие, огонь — белой, чистой. Проба в огне явилась хороша, прозрачна..."

Потом кончали топить. Печь медленно выстывала. Кирпичи неохотно отдавали жар. Виноградову не терпелось взглянуть поскорее на готовую посуду. Наконец печь открывали. Виноградов, волнуясь, снимал крышки с капселей и вынимал еще теплые чашки, чайники, тарелки.

С потемневшим лицом он отставлял их в сторону. Они были кривые, покоробленные, а иные — растрескались в огне.

Скрепя сердце, химик продолжал начатую запись:

„...а в печи посуда испортилась. Не много здоровых вещей вышло. Кофейник новый хорош бы, да погнулся..."

И он снова принимался за опыты, составлял новые массы, прибавлял в них то больше кварца, то больше алебастра, но посуда из новых масс тоже коробилась в дровяной печи. Неужели ученому химику не будет удачи, как не было ее у шарлатана Гунгера?

Черкасов прослышал, что в Берлине напечатана книга „Открытая тайна китайского и саксонского порцелина, сочиненная от знающего сию тайну".

Нарочный курьер привез эту „Открытую тайну" Черкасову. Барон вызвал Виноградова и швырнул

перед ним на стол тоненькую книжонку в четвертку листа, напечатанную на грубой, серой бумаге.

— Прочти, возьми в толк, уразумей, как порцелин делать надлежит! — сурово сказал Черкасов и, отвернувшись, прибавил: — Дождались мы того, что сей секрет всему свету известен стал, только мы с тобой как были, так дураками и остались!

Виноградов прилежно прочел книжонку и перевел ее Черкасову на русский язык. Увы! Автор, хвалившийся, что откроет тайну порцелина всему свету, сам ее не знал. В книге были вздорные слухи и россказни о том, как делается фарфор, а ничего толкового в ней не было. Только одна страничка заинтересовала Виноградова — страничка о фарфоровых фабриках Кин-те-чена, которые описал отец д'Антрекольль. Здесь приводились слова китайцев про англичан, вздумавших делать фарфор из пе-тун-тсе без каолина.

„Вот удивительные люди! Они хотят делать тело без костей, которое без оных ни ходить, ни стоять не может!"

„Однако сие надлежит понимать наизворот, — глубокомысленно прибавлял от себя автор „Открытой тайны", — ибо глину не за кости, а за тело разуметь должно, а петунтзу, или шпат, за полкрепление того тела, или за кости".

Виноградов задумался. Он своими глазами не раз видел, что мягкая глина становится в огне твердой и жесткой, „как камень, из которого можно рубить огонь", а шпат и кварц плавятся и растекаются в большом жару. Значит, слова китайцев нужно понимать вовсе не наизворот, а прямо. Глина придает крепость фарфору, как кости придают крепость телу. А вот у него посуда кривится и коробится, — значит, нужно прибавить в массу какую-то другую глину, которая укрепила бы фарфор. Как найти эту глину?

Виноградов кликнул извозчика и велел отвезти себя на Васильевский остров. В полутемной книжной лавке „Де сіянсъ Академіи" химик доставал с полок и перелистывал толстые томы в кожаных переплетах — французские книги и журналы. В лавке пахло плесенью и мышами. На страницах книг были ржавые пятна от сырости. К концу дня Виноградов нашел

то, чего искал. Это были „Любопытные и поучительные письма отца д'Антреколля о Китае".

Крепко прижав к себе книгу, Виноградов вышел из лавки. Как хорошо, что когда-то в Марбурге он выучился французскому языку!

В ту ночь в его комнате долго горела свеча. Караульный солдат, бродя по двору, не раз заглядывал в его окошко и бормотал:

— Читает Дмитрий Иванович, все читает... Уж с лица осунулся, краше в гроб кладут, а все читает. Тешат его лукавые ночь напролет...

На рассвете солдат увидел, что Виноградов закрыл книгу, задул свечу и положил усталую голову на стол.

Из писем отца д'Антреколля он не узнал ничего нового о фарфоровых глинах.

Виноградов просил Черкасова, чтобы ему присылали образцы белых глин из разных мест — из-под Смоленска, из Старой Руссы и даже из Сибири. Он хотел их испробовать.

Черкасов сердился на Виноградова и писал ему язвительные письма:

„Господину бергмейстеру знать надлежит, что на ваши пробы уже довольно казны потрачено, а плода никакого до сих пор не видно. Надлежит тебе за работными людьми лучшее смотрение иметь, да и самому к тому делу со всяким раченнем руки приложить".

Черкасов послал на завод подполковника Хвостова и приказал ему следить, чтобы Виноградов „работал прилежнее".

Хвостов слонялся по мастерским, покрикивал на рабочих, надоедал Виноградову с утра до ночи.

— Будет ковыряться-то! — говорил он химику, заглядывая в дверь лаборатории. — Пожалуй в мастерские, ваше благородие! Сказано тебе: „работай не покладая рук!"

Виноградов и так работал „не покладая рук". Хвостов ему опротивел. Однажды химик не вытерпел и вытолкал подполковника за дверь. Тогда Хвостов созвал караульных, отобрал у Виноградова шпагу и запер его в лаборатории на замок.

Арестованный химик принялся на досуге перечиты-

вать свои записи об опытах и скоро забыл про Хвостова. Ему было ясно, что он еще не нашел нужного состава массы. В массу надо было еще прибавить какую-то составную часть, чтобы посуда в обжиге не кривилась. Он записал в дневнике:

„Порцелиновая фабрика есть не что иное, как горная мануфактура, и между всеми прочими великолепнейшая. Но кольми совершеннее оная была бы, если бы все к тому делу употребляемые материалы ведать можно было!

„В обширном Российском государстве разных минералов, камней и глин множество находится, но большая часть их еще в недрах земли сокрыта...?

Ему вспомнились стихи Ломоносова:

В земное недро ты, химия,
Проникни взора остротой
И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой!

Химия еще не проникла в российское земное недро. Нужно разыскивать фарфоровые глины, нужно исследовать и изучать их много лет. А Черкасов требует, чтобы фарфор был сделан завтра, нет — сегодня, сейчас, сию минуту. Ему не терпится поднести царице „фарфоровый презент".

Виноградов вспомнил, что собирался подбавить в новую массу еще два фунта кварца, и ринулся было в дверь. Нужно было сказать точильщикам, чтобы они пока из новой массы ничего не точили.

Дверь была заперта. Химик, верно, забыл, что он арестован! Он заходил большими шагами по лаборатории.

В уме у него всё еще звучали стихи Ломоносова:

В земное недро ты, химия,
Проникни...

Проникнет она, матушка, проникнет, — держи карман, — когда химик под замком сидит...

...Проникни взора остротой...

Тут и „острота взора" не поможет, если подполковник Хвостов над заводом команду взял... Мерзкая рожа!

Скамейка, задетая ногой Виноградова, грохнулась на пол.

И, что содержит в нем Россия,
Драги сокровища открой...

А для кого их открывать? Для царицы? Для Черкасова? Для Хвостова? Ладно, они и без этих сокровищ обойдутся.

Вся огромная работа последних лет показалась химику ненужной и бесцельной. Он захлопнул журнал и улегся спать на голой скамье, положив под голову кафтан.

Прошло несколько дней. Химик сидел под арестом.

Забрызганный грязью курьер привез на завод запечатанный ящик от барона Черкасова. В ящике были образцы белых оренбургских глин, присланные по просьбе Виноградова с Урала. Черкасов приказывал „незамедлительно учинить тем глинам пробу".

Виноградов нехотя принялся за работу. Он сделал пробу из оренбургской глины и обжег ее в маленьком горне. Проба вышла белая, с глянцем, но очень хрупкая, она так и ломалась в руках. Делать посуду из одной этой глины было нельзя. Но когда Виноградов смешал эту глину с гжельской „черноземкой", проба вышла хорошей. Виноградов сделал из новой составной массы кубок побольше и обжег его в дровяной печи.

Кубок обжегся прекрасно. Его прямые, гладкие стенки не погнулись, не покривились. Масса была крутая, плотная, полновесная — настоящая фарфоровая.

Виноградов взвешивал кубок рукой и, ощущая пальцами его гладкую глазурь, чувствовал, что держит в руке свою судьбу. Он написал Черкасову:

„Из той оренбургской глины самый настоящий чистый и белый порцелин делать возможно... Посуду поныне в обжиге вело и коробило, но оные недостатки той глиной отвращены быть могут и отвращены будут".

И Виноградов просил Черкасова вернуть ему шпагу. Пока заводский солдат снаряжался в город, чтобы отвезти Черкасову кубок и письмо, химик все еще сидел за столом и, сам того не замечая, чертил на обороте своего письма:

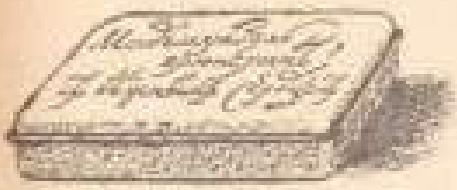
„Это должно

„Это должно наконец

„Это должно наконец случиться!"

Это, наконец, случилось. Он нашел состав фарфоровой массы.

„КИБИТОЧКИ ЛЮБОВНОЙ ПОЧТЫ"



Прошел месяц — и Черкасов, сияя от удовольствия, поднес царице Елизавете белую табакерку из настоящего фарфора. Это сделал Виноградов.

„Табакерки ныне выходят весьма белы и хороши, чище и белее оных повыне сделать было невозможно, разве что бог даст впредь", писал Виноградов Черкасову.

В те времена все вельможи, придворные дамы и сама царица нюхали табак. Фарфоровые табакерки понравились всем.

Их делали в виде почтового конверта, на лицевой стороне черной краской писали адрес, как указывал заказчик. „Мадемуазель брюнеточке с нежным сердцем", — велел написать один надушенный щеголь с мушкой на щеке, заказывая табакерку для своей невесты.

На балах во дворце пажи обменивались табакерками с нарумяненными фрейлинами царицы. Нередко в табакерке скрывалась розовая записочка с чувствительными стишками. Поэтому при дворе табакерки назывались „кибиточками любовной почты".

Случалось, что табакерку заказывал важный сановник, желавший, чтоб его повеличали и прославили на фарфоре. Длинные титулы и чины не умещались на маленькой крышке табакерки. Тогда Черкасов сердился и писал Виноградову:

„Да пошире и подлиннее велите сделать одну табакерку для его сиятельства графа Алексей Григорьевича, ибо его сиятельства титул велик, чтобы уместился надписью на крышке".

Больше всего табакерок нужно было царице Елизавете. Она дарила их своим придворным в знак

милости и послала их даже в Англию в подарок лордам Гвидфорду и Нительтону.

В то же время Виноградов делал маленькие чашки, блюдечки, соусники, вазочки, масленки, баночки.

Он составлял краски, чтобы расписывать белую посуду.

Его посуда была не хуже саксонской, но Черкасов обижался, что все вещи маленькие. „Делай чем толще, тем лучше, — писал он Виноградову, — работай прилежнее, чтобы ее величеству можно было хорошее и крупное поднесть, чтобы выйтить из нарекания того, будто мы ее величество обманываем".

Виноградов никого не обманывал. Он построил большую печь, которая топилась дровами. Ее топили, все усиливая огонь, двадцать четыре часа, пока он „так жесток станет, что все будет журчать и шуметь".

Через восемь часов такого „журчания" фарфор становился белым и твердым. Печь наглухо закрывали, и она остывала 3—4 дня.

Тогда фабрика стала делать большие вазы, блюда и тарелки. Царица могла гордиться. Русский фарфор был не хуже китайского и саксонского.

ФИГУРКА АТЛАСА

Виноградов держал в руке фарфоровую фигурку, только что вынутую из печи. Это был Атлас — силач, поднявший на плечи земной шар. Шар земной, тоже сделанный из фарфора, был слишком тяжел для плеч фарфорового силача. Когда в обжиге глина сплавлялась с кремнем и алебастром, фарфоровый шар так давил на плечи бедного маленького Атласа, что ноги у него подгибались и вся фигурка накренялась вперед. Такой искривленной выходила она из обжига.

Это повторялось каждый раз, когда фигурку Атласа делали из фарфора и ставили в печь.

— Бедный Атлас! — сказал Виноградов. — Надо сделать шар полегче и поменьше, тогда ты не будешь выходить таким уродом.

И ему показалось, что он сам похож на этого Атласа, готового упасть под тяжестью непосильной ноши.

Завод выпускал прекрасный фарфор. Царица Елизавета награждала барона Черкасова орденами. О Виноградове вспоминали только тогда, когда нужно было исполнить какой-нибудь сложный заказ.

Ему забывали платить жалованье. Иногда целая треть его жалованья удерживалась кабинетом ее величества. Рабочим тоже не всегда платили.

Его лучший помощник, не ученый, но способный мастер, Никита Воинов, получал в месяц всего три рубля да два четверика муки, да один гарнец круп. А другие — и того меньше. В избах все так же текли крыши, и „от сырости был дух дурной нестерпим".

Рабочих секли за все провинности. Командовать фабрикой был поставлен подполковник Хвостов.

Хуже всего приходилось первому живописцу завода Ивану Черному. Он был крепостной дворовый графа Черкасского, но он не хотел всю жизнь быть графским лакеем. Потихоньку он учился рисованию и золотых дел мастерству. Научил этому и своих сыновей. Он стал золотых дел мастером. За это его наказали плетьми и отдали в услужение графу Шереметеву. Он послал челобитную царице, чтобы его с сыновьями взяли на фарфоровый завод расписывать табакерки. Черкасов принял его на завод, а граф Шереметев требовал, чтобы его „служителя" вернули обратно.

Старик Черный и его сын Андрей ненавидели рабство и гнет. Они вечно бунтовали. Их усмирял барон Черкасов.

Вот как написано в приказе Черкасова по заводу от 1753 года:

„Живописца Черного велеть держать на цепи, а жалованье ему давать по вашему рассмотрению, и чтобы работал всегда. Буде же будет упрямиться, то его извольте высечь, да и жену его поближе держать, и ежели явится в продерзости, тоже высеките".

Закусив губы до боли, глядел Виноградов, как живописец Черный, скрючившись от цепи, натиравшей ему шею, тоненькой кисточкой рисовал на табакерках портреты румяной царицы Елизаветы, или розовых амуров, или голубых пастушков с овечками.

Вся Россия была под кнутом, на цепи, под вечной угрозой пытки.

Иногда Виноградову этот гнет становился нестерпимым. В нем пробуждался вспыльчивый мальчик, который когда-то в Марбурге приводил в отчаяние старого Вольфа своими драками с немецкими студентами.

Тогда, в припадках бешенства, он ломал все вокруг себя. Он готов был покончить с собой, только бы не работать для прихоти тупых, разжиревших вельмож и бело-розовой царицы Елизаветы, по мановению пальчика которой людей посылали в тюрьмы, морили на каторге, клеймили железом и сжигали на кол.

Об этих припадках директора фарфорового завода донесли барону Черкасову.

Черкасов приказал отобрать от Виноградова оружие и яды, запереть все рабочие помещения и кладовые, никуда его одного не пускать, „дабы с десперации[1] не сделал чему гибели разломанием или сожжением, или над собою какого зла".

Виноградову стало еще хуже. Тогда Черкасов приказал посадить его на цепь. Грубый подполковник Хвостов, гремя цепями, вошел в комнату, где работал Виноградов, и велел приковать его к стене, так, однако, чтобы он мог подходить к столу и писать. Черкасов требовал, чтобы Виноградов написал точно и подробно о том, как делается фарфор.

И Виноградов писал, сидя на цепи, „обстоятельное описание чистого порцелина, как оный в России при Санкт-Петербурге делается, купно с показанием всех к тому принадлежащих работ".

Хвостов приходил оскорблять его.

— Дождался, ученый, что на цепь посадили! — издевался он. — Смотри, смирно сиди, а не то и палки дождешься.

Виноградов гордо молчал. А когда его оставляли

[1] С отчаяния.

одного, он опускал голову на стол, и ему вспоминалась фигурка Атласа, покачнувшаяся под непосильной тяжестью.

За окнами плавно и спокойно текла Нева.

„Нет нельзя так. Я, кажется, сойду с ума!" думал Виноградов. Он решил написать Черкасову.

„За что я ни примусь, то почти все у меня из рук валится, и в мыслях моих все странное вселяется: то какого здравого рассуждения там ожидать, где только одно беспокойство жилище свое имеет. Команда у меня вся взята, я объявлен всем арестантом: я должен работать и показывать, а работные люди слушать и повиноваться должны другому. Меня грозят вязать и бить без всякой причины", написал Виноградов Черкасову.

Тогда его освободили от цепи. Ему приказали скорее кончить свое „описание чистого порцелина" и научить всему производству своего помощника, Никиту Воинова. Черкасов писал ему: „Понеже вы как все люди подвержены болезням и смерти, то необходимо потребно, чтобы вы все нужное показали другому бескрытно и без утайки".

Кабинет-курьер Жолобов следил за каждым шагом Виноградова, записывал каждое его слово.

Черкасов боялся, что изобретатель умрет и унесет с собой в могилу секрет фарфора.

Виноградов записывал в журнал свои последние заметки о деле порцелина. Между строк о фарфоровой массе и о дровяных печах он записал по-латыни стих, пришедший ему на ум:

Ныне мой разум гнетет тяжесть трудов понесенных,
Краткая младость прошла, рано я стал стариком.

Ни Черкасов, ни Хвостов, ни Воинов латыни не знали. Виноградов написал эти строчки для себя и для нас с тобой, читатель. Через двести лет мы нашли рабочий журнал Виноградова и прочли этот печальный стих.

Вскоре после этой записи Виноградов заболел и через три дня умер. Ему еще не было сорока лет.

А фабрика продолжала работать, выпуская прекрасный фарфор, которым гордилась царица Елизавета перед другими государями.

Глава пятая

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

О ЧЕМ РАССКАЗЫВАЕТ СТАРЫЙ ФАРФОР

Прошли годы. Царь Петр III велел Михайле Ломоносову, великому поэту, физику и химику, взять в свои руки фарфоровый завод. Но не успел Ломоносов начать работу, как царь приказал ему оставить это дело.

Так и не пришлось Ломоносову поработать на заводе.

Проходили годы. Сменялись цари, сменялись начальники завода, на завод привозили новые машины для выделки фарфора. С годами фарфоровые изделия изменяли свой вид.

Каждый период времени наложил свою печать на фарфоровую посуду. Всякую фарфоровую вещицу можно прочесть как книгу. Она расскажет о тех, кто ее сделал, о тех, для кого она была сделана.

Вот кривая, помятая с боков чашка. Она покрыта пятнышками и пузырьками, словно сыпью. На ее донышке подслеповатая буква W.

Почему эта некрасивая вещь хранится под стеклом в музее завода?

Это — работа Виноградова. Может быть, это первая чашка из русской глины. Она сделана неумело. Печь, видно, дымила.

Виноградов составлял свои массы в сырой, полутемной избе на берегу Невы.

Вот маленькая фарфоровая табакерка в Русском музее. На ней нарисован розовый ангел. Он укладывает розового ребенка в розовую колыбель, украшенную рогатым двуглавым орлом. Кто этот ребенок, почему он нарисован на табакерке?

Эту табакерку заказала Елизавета, когда родился ее внук. Она наполнила табакерку червонцами и подарила ее матери своего наследника в награду за то, что родился сын, а не дочь. Розовый ребенок — будущий император Павел I.

В то время на заводе еще не умели делать больших вещей. Живописец-ювелир Черный расписал эту драгоценную безделушку. Может быть, он стонал и скрипел зубами, рисуя розового ангелочка. Железная цепь натирала ему шею.

Рассмотрим крупные, белые, блестящие фарфоровые вещи. Фарфоровая фигурка изображает царицу Екатерину в виде богини. У ног ее — две прекрасные женщины: справедливость и человеколюбие. Побежденные страны привязывают себя к щиту Екатерины цепями, сплетенными из цветов. Муза истории в лавровом венке записывает ее подвиги на фарфоровую дощечку. Амуры на чайных чашках венчают розами профиль царицы с торчащим вперед подбородком. На суповых мисках и соусниках сверкает ее вензель в сиянии лучей. Даже солонки и перечницы прославляют царицу, каждая на свой лад.

Фарфоровые крестьянки и крестьяне пляшут русскую или играют на дудках. Они — румяные, красивые, нарядные. Можно подумать — сытно и весело живется им у барина-помещика.

Это — дворянский фарфор. Дворяне-помещики были тогда хозяевами в стране. Им принадлежала вся земля, в их руках были вся торговля и все золото. Как же было дворянам не прославлять крепостной строй, не восхвалять свою благодетельницу-царицу!

Поэты называли царицу „богоподобной" и „любимицей богов". Художники изображали ее в виде богини. Фарфор тоже прославлял царицу. Лучшие художники работали тогда по дворянскому заказу. Этот фарфор красивый, торжественный, он расписан умелой рукой.

А что это за военная посуда?

На тарелках — скачут казаки, машут саблями гусары, пехотинцы заряжают ружья. С чайных чашек сердито косятся генералы. На больших вазах нарисованы гвардейские мундиры спереди, сзади и сбоку. Складки заутюжены, пуговицы блестят, петлички и выпушки прострочены.

Кажется, что это рисовал не художник, а военный портной.

Хозяин этой посуды — Николай I — изображен на фарфоровой пластине. Он скачет перед строем улан. Глаза у него выпучены, султан развевается на треуголке. Уланы вытянулись в струнку.

Кажется, что сейчас забьет барабан, и солдата прогонят сквозь строй, солдат упадет под ударами шпицрутенов, зазвенят кандалы ссыльных по дороге в Сибирь.

Уже начиналось революционное движение, когда завод выпускал эту посуду. Старый крепостной строй трещал по всем швам. Николай I старался поддержать крепостной строй силой пушек и штыков. Он только и думал о выправке своих солдат. Он пил из военных чашек, ел на военных тарелках. В Зимнем дворце по углам стояли военные вазы, словно несли караул.

На фарфоровом заводе за порядком следил особый полицеймейстер. Провинившимся мастеровым забривали лбы, сдавали мастеровых в солдаты.

Настоящие художники работали на императорском заводе неохотно.

В мастерских сидели чиновники, затянутые в мундиры. Их „художество" было скучное, казенное,

раболепное. Они умели рисовать только кивера и эполеты на кукольных офицерах да ранцы на кукольных солдатиках.

После проигрыша Крымской войны чиновники на фарфоровом заводе стали стесняться изображать на вазах и тарелках воинственных солдатиков.

Какими же рисунками пришлось им украсить фарфор?

Чиновники в мундирах, прежде рисовавшие кукольных солдатиков, теперь принялись усердно писать на фарфоре пастушек, красавиц и амуров. Они старались, чтобы их рисунки были веселые, пестрые, легкие, — а рисунки выходили у них топорные, скучные, слащавые. Чиновники не умели рисовать.

В то время на заводе сделали огромную розовую вазу. Полуаршинные амуры неуклюже танцуют по ее стенкам, растопырив розовые ручки, вскидывая толстые коленки. Вьются цветы, сверкает золото на зачем-то прилепленных к стенкам вазы бородатых головах.

Над этой вазой работали несколько лет. Кончили ее и восхитились своей работой. Кто получил орден, кто — медаль, кто — часы от царя.

А русское искусство шло другим путем.

В тот год, когда ваза была окончена, молодой художник Репин выставил свою картину „Бурлаки". Бурлаки тянут баржу. Они тяжело дышат. Из-под спутанных кос глядят страшные, измученные глаза.

Тысячи людей ходили на выставку смотреть эту картину. О ней писали, говорили, спорили. Она задела людей за живое. Художник показал людям, какова на самом деле жизнь.

Придворные неучи пожимали плечами и отворачивались от картины Репина.

— Разве это искусство? — говорили они. — Это так некрасиво!

Розовая ваза с амурами казалась им чудом искусства. Кто теперь помнит эту вазу? Забытая всеми, стоит она в заводском музее, как образец плохой, безвкусной работы.

А картина Репина известна всему миру.

Прошло несколько десятилетий, и фарфоровая посуда стала грустной, унылой. Большие матовые

статуи наверно повесили головы. Волосы у них распущены, глаза кокетливо полузакрыты. Названия у этих статуй невеселые — „Грусть", „Усталость", „Мученица", „Последний вздох корабля".

Рядом с ними — лампадки, кресты, яйца с постными лицами святых.

Длинные чахоточные цветы тянут стебли по стенкам ваз. Плакучие ивы свесили грустные ветви на блюдах. Чашки покрыты серым, серо-зеленым, серо-голубым узором.

Посмотришь на такой фарфор — на сердце заскребут кошки, — такая тоска.

Это фарфор последних самодержцев.

ШКОЛА НА ШЛИССЕЛЬБУРГСКОМ ТРАКТЕ

Прошло полтораста лет с тех пор, как умер Виноградов. На левом берегу Невы, где прежде были болота да чахлый перелесок, теперь стояли новые заводы, дымили высокие трубы. Семянников завод строил машины, Александровский — паровозы, „Атлас" лил чугун. Скрипели ткацкие станки, жужжали веретена на фабриках богатых купцов — Торнтона, Максвелла, Паля.

На лесистом мысу, где Виноградов встречал восход луны, высились огромные корпуса Обуховского сталелитейного завода.

На новых заводах работали десятки тысяч рабочих. По берегу Невы на одиннадцать верст вдоль Шлиссельбургского тракта раскинулись новые поселки — Смоленка, Александровка, Обухово, Мурзинка.

Сельцо Фарфоровое со своей старинной церквушкой в зарослях прибрежных ракит затерялось среди шумных соседних сел.

Фарфоровый завод словно одряхлел и присел к земле. В его невысоком, невзрачном здании рабо-

тали, как встарь, две-три сотни работников. Летом завод работал восемь, зимой — шесть часов, а в темные декабрьские дни и того меньше — три часа в сутки. В сумерки завод пустел и затихал. Тяжелые железные ставни закрывали окна его музея. У ворот лениво топтался сторож — отставной солдат в высокой мохнатой шапке.

А на больших заводах по соседству работа шла день и ночь.

Рабочие боролись с хозяевами за сокращение рабочего дня, за отмену штрафов, за прибавку заработка. На Шлиссельбургском тракте каждый год бывали стачки и забастовки.

— Помилуйте, на что рабочему свободное время, — негодовали фабриканты. — Куда он пойдет, что будет делать, не занятый работой? Тут прямой простор разгулу.

Рабочие знали, куда они пойдут, что будут делать в свободные часы. Молодые заводские парни урывали время у сна, чтоб читать книги. Многие из них учились в вечерней школе, открывшейся на Шлиссельбургском тракте.

Об этой школе шла молва за Невской заставой. В ней были удивительные учительницы. Они не только обучали рабочих грамоте и арифметике, они расспрашивали учеников про их жизнь. Они умели дать толковый совет и подбодрить человека, попавшего в беду. Они любили свою школу.

После уроков ученики окружали учительницу. Каждому хотелось перекинуться с ней словечком.

„Мрачный сторож лесных складов с просиявшим лицом докладывал учительнице, что у него родился сын... Чахоточный текстильщик желал ей за то, что выучила грамоте, удалого жениха... Приходил одноногий солдат и рассказывал, что „Михайла, который у нас прошлый год грамоте учился, надорвался в работе, помер, а помирая, вас вспоминал, велел поклониться и жить долго приказал..." рассказывает Надежда Константиновна Крупская.

Надежда Константиновна была учительницей в этой школе.

Работая днем на заводе в грязи и копоти, переругиваясь с мастерами, на каждом шагу натыкаясь на

подлости, рабочий помнил, что вечером ему предстоит нечто хорошее: он пойдет в школу и забудет заводские дрязги. Он старался изо всех сил отделаться от вечерней работы.

Ученики особенно любили одного руководителя, которого прозвали „Лысым". У него был большой выпуклый лоб и рыжеватая бородка. Придя на занятия, скинув старенькое пальто, он вынимал из кармана мелко исписанные листочки и говорил просто и понятно о том, как рабочие должны бороться за свои права.

Товарищи звали этого лектора „Стариком" — за большой ум и непоколебимую волю. А по паспорту он значился Владимир Ильич Ульянов. Бабушкин и другие рабочие-революционеры были его учениками.

ФАРФОРОВЦЫ

Село Фарфоровое за Невской заставой жило своей особой жизнью. Фарфоровцы, или фарфоряне, казались особым племенем среди других рабочих.

Многие из них были потомственные „государевы работники" из бывших заводских крепостных. По наследству от отца к сыну передавались секреты фарфорового мастерства, по наследству передавались также раболепный страх перед начальством и горделивое презрение к рабочим других заводов: мы, дескать, фарфоряне, хорошие люди, белая кость, а вы — горлодеры, лапотняки, не люди, а людишки.

Давно прошли те времена, когда на фарфоровом заводе протекали крыши, а мастеровые „насилу целую рубашку на плечах имели". Императорский завод должен был быть самым благоустроенным, самым богатым заводом в Петербурге. Начальники завода, украшенные орденами, пеклись о том, чтобы „государевы работники" были сыты, одеты, обуты. К празднику рабочим давались наградные, под старость

рабочие получали пенсии. Работа на заводе была не тяжелая.

Трудно было чужому человеку поступить на императорский завод. Мастера принимали на работу только тех, у кого дядя, кум или свояк уже служили на заводе, только тех, про кого сам пристав мог сказать: „Ну, за этими, слава богу, никаких „идей" не замечено".

У фарфоровцев были своя знать и своя чернь. Живописцы считались знатью, „хорошими людьми". Они приходили на завод в сюртуках. Их работы отвозились каждый год в царский дворец. Сама государыня, приложив лорнет к равнодушным глазам, разглядывала расписанные ими вазы, блюда, пасхальные яйца. Министр двора следил за ее улыбкой и взглядом. Тот живописец, чьи работы понравились царице, получал золотые часы или медаль.

Живописцы жили в собственных домиках с занавесочками и геранью на окнах. В переднем углу такого домика сиял золоченый киот. Пузатый самовар блестел на вышитой скатертке. На комоде красовались бумажные розы в фарфоровых вазочках, густо засиженные мухами. В крепких сундуках копилось завидное приданое фарфоровских невест.

У других рабочих детей звали Мишками да Гришками, Маньками да Дуньками, — у фарфоровцев сыновья звались Анатолии, Авениры, Валентины, а дочери — Аглаи, Агнессы, не Матрены, а Матильды, не Пелагеи, а Полины, не Анютки, а Нюрочки.

Книг „хорошие люди" отродясь не читали и отплевывались от всякого ученья.

— Посуди сам, зачем мне знать про какую-то Индию, — говорил один фарфоровец другому. — И где эта Индия? Отцы наши ее не видели, и мы никогда не увидим. Какой же мне толк в этой Индии?

Собеседник отвечал ему в лад:

— Зашел я, знаешь, в нихнюю школу, племянник-сорванец меня зазвал. Посидел я, послушал, да и плюнул. Учительница, понимаешь, рисует на доске какие-то треугольнички и приговаривает: те уголочки равные, а те — неравные. Да что я, малое дитя, что ли? Стану я уголочками забавляться! Детям, может, интересно такие сказки слушать, а семейному

человеку — даже совестно. А, поверишь ли, сидят там на партах бородатые ученики и эти самые треугольнички в тетрадках рисуют.

— Да ну?

— Ей-богу! Как есть — сысойки серые... [1] Смехота!

По воскресеньям „хорошие люди" ходили в церковь, после церкви пили кофе с пирогами, а потом — отправлялись в трактир.

Лестно бывало какому-нибудь токарю-фарфоровцу, если живописцы здоровались с ним за руку и допускали его посидеть за своим столом.

Токари, скульпторы, шлифовщики считались людьми похуже, победнее, но и они мечтали обзавестись собственными домиками и выйти в „хорошие люди". Их жены горько плакались мужьям: „Хорошие люди живут в домах на проспекте, а мы, как нестоящие, живем в тараканьей щели — на улице Щемиловке. У хороших людей жены ходят в церковь в новомодных салопчиках, а нам — затрапезницам — и показаться на люди стыдно".

Горновые, глиномялы, печники, возчики считались на заводе людьми „нестоящими". Они жили тесно и грязно в рабочих казармах. Они нанимались колоть дрова по чужим дворам, а летом промышляли на Неве рыбной ловлей. „Хорошие люди" с ними не водились. Не всякого пускал „хороший человек" к себе на порог.

Дорого приходилось фарфоровцам расплачиваться за царские медали. Начальство измывалось над ними во-всю.

После отмены крепостного права на императорском заводе под лестницей еще лет пятнадцать — двадцать стояла скамья, на которой пороли рабочих. За рабочими наблюдал строгий полицеймейстер. Идет бывало мальчик мимо завода в крепкий мороз. Видит — у окна торчит полицеймейстер. Мальчик живо разматывает башлык, сдергивает шапчонку и низко кланяется его благородию. Не поклонится — отец будет в ответе.

В те годы, когда Владимир Ильич Ульянов пробирался за Невскую заставу проходными дворами, что-

---

[1] Встарину столичные мещане называли деревенских рабочих „сысойками".

бы не привести с собою шпика на квартиру, где его ждали кружковцы, на фарфоровом заводе правил директор Гурьев.

— Это был свирепый самодур. И не понять, знаешь, было — то ли он сумасшедший, то ли просто балбес, — вспоминают старые фарфоровцы.

Гурьев прогнал всех художников с завода. Он говорил: „Зачем нам художники? Мы все равно своего ничего не выдумаем. Мы должны подражать другим".

По его приказу копировщики без устали копировали английские и немецкие рисунки и, завидев директора, совали резинки за щеку. У директора была особая причуда: он ненавидел резинки и не позволял стирать ими рисунок.

Когда Гурьев входил в мастерскую, все вставали и низко кланялись. Поклониться нужно было умеючи. Один рабочий поклонился директору, а потом невольно расправил плечи и взялся за пояс.

— Ты что подбоченился? Руки по швам! — крикнул директор и приказал полгода платить этому рабочему половинное жалованье.

По праздникам рабочие, надев свои медали, являлись на завод. Унтер выстраивал их в пары, как институток, и вел в церковь. В церкви уже ждали их семьи. Директор, стоя у клироса, зорко следил за тем, чтобы фарфоровцы молились истово, с благоговением.

Отцы щелкали сыновей по головам, матери дергали девчонок за косички.

— Да молись же ты с благоговением, балда, — на отца директор смотрит!

Как-то раз рабочие дожидались получки, стоя в коридоре. Шальной воробей влетел в форточку, забился между оконных рам, запутался в пакле. Один парень вытащил воробья, другой высвободил его из пакли. Проходивший мимо директор оштрафовал каждого из них на двадцать пять рублей — за баловство с воробьем в ожидании получки.

После работы директор сидел на веранде своего домика, пил кофе и рыскал глазами по проспекту — кого бы еще оштрафовать? Фарфоровцы, проходя мимо, чинно кланялись ему.

Одному живописцу часто доставалось от директора

за неказачный костюм. Наконец он купил себе новое платье и шляпу и вышел на проспект показаться Гурьеву. От страха или от усердия он уронил новую шляпу в грязь. Директор оштрафовал его — за неумение кланяться.

Однажды старик-рабочий, проходя мимо директорской веранды, упал и остался лежать без движения под забором. Директор записал ему штраф — десять рублей — за неуважение к директорскому забору.

Оказалось — рабочий умер. С ним случился удар. Штраф все же взыскали с его вдовы, когда она пришла за получкой.

В те годы в селе Фарфоровом славился трактир „Бережки". Он помещался в старинном доме, на крыльце которого лежали каменные сфинксы с отбитыми носами и строго глядели на прохожих. Это был загородный дворец Бирона. Он уже стоял здесь при Виноградове. Рассказывали — из дома под набережную ведет потайной ход, железная дверь открывается прямо в Неву. Сюда, будто бы, сплавлял вельможа тела замученных им слуг.

Теперь дворец разрушался. Уродливые дощатые пристройки облепили некогда величавый фасад. На веревках, протянутых от окна к окну, сушилось убогое тряпье. Но трактир „Бережки" всегда был полон. В нем гремели песни.

Каждого рабочего, заподозренного в знакомстве с „крамольниками", немедленно выгоняли с завода. Особые унтера — отставные гвардейцы — доносили директору обо всем, что говорили рабочие.

Все же, несмотря на доносы, несмотря на скуку и одурь мещанского житья, которое оживляли только пьянки да сплетни, на заводе стали появляться люди, сильно беспокоившие начальство. Это было в те годы, когда за Невской заставой начали работать революционные кружки.

А работа на заводе шла плохо. Живописцы неумело срисовывали старомодные заграничные картинки на большие вазы и старались скрасить недостатки живописи густой, грубой позолотой. Картинки выходили у них безжизненные, слащавые, как бумажные розочки на комодах „хороших людей".

На всемирной выставке в Париже в 1900 году из-

делия императорского завода оказались хуже фарфора других стран.

— В русских рисунках мало вкуса и незаметно мастерства. На императорском заводе царит рутина,— говорили западные критики.

Услышав такие отзывы, министр двора забеспокоился.

— Пожалуй, директор Гурьев мало смыслит в искусстве фарфора!

Гурьева отставили. Директором назначили барона фон-Вольфа, длинного, сухопарого генерала. Он смыслил в искусстве не больше Гурьева, но зато знал, что в Европе сейчас в моде „новый стиль". На Парижской выставке прогремел тогда датский фарфор, расписанный подглазурной живописью. Плоские, удлиненные цветы, туманные пейзажи, длинноволосые русалки — вот что было в моде.

Барон Вольф начал насаждать на заводе „новый стиль". Он принял на работу художников. Он ввел подглазурную живопись. Подглазурная живопись наносится на еще не обожженную посуду, наносится она не кисточкой, а особой спринцовкой, которая направляет струю жидкой краски на фарфор.

Живописцы не сразу привыкли к новой технике. Первое время на их вазах часто появлялись после обжига пятнышки, точки, проплешины. Заметив на фарфоре пятнышко, директор браковал вещь. Живописец не получал денег за такую работу. Мало того, из окна мастерской он видел, как директор, выйдя на двор и вооружившись молотком, своей рукой раскалывает злополучную вазу или блюдо на мелкие куски. Императорский завод должен был выпускать только безукоризненные изделия.

Глава шестая

ЗАВОД ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

СЕРП И МОЛОТ НА ФАРФОРЕ

Исполнилось все, о чем толковали рабочие-кружковцы со своим лектором Владимиром Ильичом Лениным.

Фарфоровцы-большевики вернулись на завод. С оружием в руках они прогнали с завода самых отъявленных врагов советской власти и поставили на их место новых работников. Советская власть становилась крепче с каждым днем, а враги ее ослабевали.

В стране начиналась перестройка всего народного хозяйства.

На фарфоровом заводе работали токари-большевики Майоров и Бессмертный, им помогал инженер Фрикен. Они перестраивали „фарфоровскую богадельню" так, чтобы она послужила Стране Советов.

Нужно было делать фарфоровую массу из русских глин, составлять краски и глазури без помощи заграничных заводов, выпускать изоляторы для электростанций и новую, советскую посуду.

Завод перестраивался с трудом. В его старых стенах застоялся вековой чиновничий дух. „Хорошие люди" ворчали, но скоро пришли работать на завод молодые художники. Они делали рисунки для новой,

советской посуды. Серп, молот, красная звезда заблестели на блюдах и вазах.

Появились первые революционные фигурки — красногвардеец с винтовкой, девушка-милиционер, партизан с красной звездой на папахе.

Старики издевались над этими работами:

— Экая мазня! Мы для самого императора работали, разные рисунки видывали, но такой чепухи не видали! Рисовали мы амуров, и святых, и маркиз, а эти, гляди, мужика в лаптях на блюдо посадили! И смех и грех!

Художники работали молча, стиснув зубы. Фарфоровая живопись — дело трудное. Нужно знать, как растереть золото, когда прибавить в краску стеарин, а когда — гвоздичное масло, как самим вязать тонкие кисточки.

Старики ревниво хранили эти секреты про себя.

Однажды ночью крысы разбили тарелку с изображением красноармейца. Потом крысы размазали краски на чашке, украшенной серпом и молотом. Потом крысы засыпали песком посуду, поставленную в печь.

— Что за озорные крысы на бывшем императорском заводе! — сказал приехавший из города комиссар. — Видно, не нравится им советский фарфор. А мы этих крыс — за ушко да на солнышко! Пускай они нам расскажут, на чью пользу работают!

Крысы присмирели. По углам мастерской все так же слышались их писк и возня, но советского фарфора крысы больше не трогали.

Художники продолжали свою работу. Разноцветные надписи: „Кто не с нами — тот против нас", „Жизнь без труда — воровство", „Кто не работает, тот не ест", покрыли борты тарелок. На блюдах и вазах появились новые рисунки: здесь — сеятель в поле, там — кузнецы у наковальни, там — строители у постройки, уходящей под облака, и надпись: „Мы свой, мы новый мир построим".

На столах стали строем маленькие фарфоровые матросы, красноармейцы, пионеры. Фарфоровая работница вышивала красное знамя, другая — выступала на митинге с речью, узбечка сбрасывала чадру.

Появились фарфоровые шахматы. Белые — цари, капиталисты. Красные — рабочие, крестьяне, красноармейцы.

А время было тяжелое. Гражданская война отрезала город от всей страны. В Петрограде не было хлеба, нехватало дров и угля. Мастерские стояли нетопленые. В горнах шипели и плевались, не разгораясь, сырые дрова.

Живописцы еле держали кисточки замерзшими пальцами. Дыханье осаждалось капельками на холодном фарфоре и портило тонкую живопись. Приходилось живописцам брать в зубы полоски бумаги и прикрывать ими рот, чтобы уберечь фарфор от своего дыхания.

Живописцы работали в маленькой комнате с дымной печуркой. С ржавых печных труб на столы валилась копоть. Живописцы сидели тесно. Им приходилось толкать друг друга локтями, расписывая большие блюда.

В эту комнату к ним пришел гость — Анатолий Васильевич Луначарский. Нагнувшись над столом, он рассматривал советский фарфор. Он любовался каждой новой чашкой, бережно брал в руки новые фигурки.

— Как хорошо, что советский фарфор яркий и радостный! Таким и должно быть искусство в нашей новой стране. На Западе все удивятся, когда мы покажем на выставках эти изделия. На Западе уже давно разучились работать так тонко и с такой любовью, — говорил он, рассматривая мелкую живопись на маленькой фарфоровой трубке.

После гудка рабочие собрались в клубе. Товарищ Луначарский сказал им:

— Фарфоровый завод будет лучшей страницей в книге моих воспоминаний!

Он рассказал фарфоровцам о путях нового, советского искусства и о прекрасных изделиях, лежащих на столах живописной мастерской.

Художники радовались. Каждый почувствовал, что он делает большое, нужное дело. Каждому хотелось работать еще лучше. Голод, холод и ссоры со стариками — все забылось сразу.

С тех пор никто на заводе не издевался над художниками, не называл их „накладным расходом". Старики молча копировали новые рисунки. Скоро молодые живописцы вернулись на завод с фронтов, потому что Страна Советов победила врагов на севере и юге.

на западе и востоке. Молодые живописцы видели в художниках своих товарищей и охотно помогали им.

Фарфоровый завод послал свои чашки и тарелки в подарок VIII съезду советов. Фарфоровый завод послал свои блюда и фигурки на выставку в Ревель. На этой выставке советский фарфор получил большую золотую медаль.

Потом фарфоровый завод послал свои изделия в старые европейские города — в Стокгольм, Брюссель, Париж, Милан и Венецию. Европейцы толпились перед советскими витринами и удивлялись:

— Позвольте, как же это? Говорят, в Петрограде голод... заводы разрушены... люди одичали... Но этот фарфор! Посмотрите на белизну массы, на яркость красок, на новые смелые рисунки! Наши фарфоровые мануфактуры отстали от советского завода!

В журналах появились статьи о новом советском фарфоре.

„Русская революция нашла свое первое и лучшее отражение в искусстве фарфора!" говорилось в одной французской статье.

„Этот прекрасный фарфор доказал нам, что в Стране Советов уделяют много внимания искусству и культуре!" писал итальянский критик.

„Русский фарфор открывает новые пути в художественной промышленности!" говорил шведский журналист.

Живописцы не успевали расписывать изделия, которые требовались на европейские выставки. Советские полпредства в разных странах желали иметь новые фарфоровые сервизы для торжественных приемов, новые блюда и фигурки для украшения зал. Фарфоровый завод дал свои изделия советским полпредствам в разных странах.

Потом появились заказы заводу из-за границы. Не только Европа и Америка желали иметь советский фарфор в своих музеях, но даже из далекой Австралии пришел заказ заводу на шахматы и фарфоровые фигурки.

Изделия завода, пересыпанные стружками и заколоченные в ящики, разъезжались по всему миру. За эти изделия Страна Советов получала золото.

А завод уже выпускал не только нарядные чашки и блестящие фигурки. Завод делал изоляторы для советских электростанций. Ведь света и электричества ждали целые районы. Завод выпускал химическую посуду для всемирноизвестных лабораторий Ленинграда, Москвы, Харькова. Завод вырабатывал автосвечи — маленькие фарфоровые столбики, без которых не может работать ни один автомобиль, ни один трактор.

Прежде все эти изделия покупались за границей. Старая Россия платила за них золотом.

Товарищ Луначарский снова приехал на завод — не один, а с всесоюзным старостой товарищем Калининым. Они обошли все цеха, осмотрели все изделия и долго беседовали с рабочими.

Потом на завод приехал новый гость — писатель Максим Горький. Он низко поклонился рабочим, входя в живописную мастерскую.

Академик Карпинский привез заводу привет от Академии наук. В этот день завод получил новое название — он стал заводом имени Ломоносова, в честь великого ученого и поэта, в честь первого академика, вышедшего из народа.

КАК ТЕПЕРЬ ДЕЛАЮТ ФАРФОР

Когда д'Антрекольль впервые пробрался в мастерские Кин-те чена, на первом же дворе он увидел большие каменные ямы, в которых размоченный као-лин смешивался с пе-тун-тсе. Рабочие-китайцы стояли в этих ямах и изо всех сил топтали ногами и разминали деревянными мешалками густое белое тесто. Они жаловались д'Антреколлю, что очень устают от этой работы.

Теперь фарфоровая масса приготовляется иным способом. Недаром люди взяли электричество себе на службу.

Прежде всего выкопанный из земли као-лин отмучивают в больших чанах. Потом приготовляют материалы, заменяющие собой пе-тун-тсе. Мы знаем теперь, что пе-тун-тсе — это пегматит, горный камень, природное соединение шпата и кварца. Вместо пе-тун-тсе мы подбавляем в као-лин глину, шпат и кварц.

Китайцы для составления фарфоровой массы смешивали равные количества као-лина и пе-тун-тсе. В нашей теперешней фарфоровой массе као-лин и глина занимают половину, кварц — одну четверть и шпат — одну четверть всего состава.

Шпат и кварц раскалывают на куски и прожигают в печи. Потом шпат и кварц засыпают в большой барабан, наполненный каменными шарами. Электричество заставляет барабан вертеться. В барабане каменные шары перетирают засыпанные материалы в мелкий порошок. К ним подбавляют глину и као-лин.

Пропущенная через барабан вода уносит этот порошок и вытекает из барабана побелевшая, похожая на густое молоко. Это — жидкая фарфоровая масса.

Жидкая фарфоровая масса течет по жолобу. Поперек жолоба поставлены магниты в виде гребенок. Протекая сквозь их зубья, масса оставляет на них частицы железа, которые находились в као-лине или других ее частях.

Магниты как бы вылавливают из массы частицы железа. Если бы железо осталось в массе, на фарфоре после обжига выступили бы те черные точки, с которыми когда-то воевал Иоганн Бётгер.

Для того чтобы отнимать воду из массы, служит особая машина — фильтрпресс. Она состоит из трубы, на которую насажены чугунные рамы с круглыми полотняными мешками между ними.

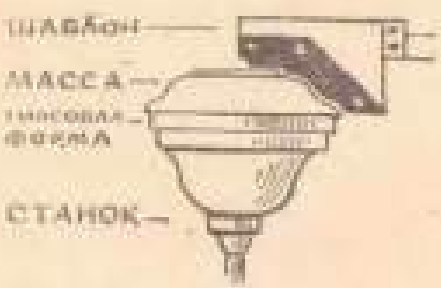
Масса течет по трубе фильтрпресса и заполняет мешки один за другим.

Чем больше массы нагоняют в мешки, чем ближе сдвигаются рамы между собой, тем сильнее становится давление, вода выжимается и вытекает сквозь ткань наружу, а в мешках остается густая масса. Тогда фильтрпресс развинчивают, снимают с него мешки и вынимают из них плоские круги густой массы. Эту массу еще раз разминают на машине с двумя парами вертящихся валов. Теперь из массы можно точить посуду.

Д'Антрекольль видел токарные станки в Китае. Это были круги на стоячей оси. Токарь сидел на маленькой скамеечке и ногами вертел круг, а руками придавал форму сосуда куску глины, положенному на середину круга.

Станки, на которых мастер Эттебрехт учил рабочих Альбрехтсбурга точить посуду, были устроены удобнее. На стоячей оси помещались два круга — один внизу, другой повыше. Мастер, сидя на табуретке, вертел ногами нижний круг, от этого приходил в движение и верхний. На верхний круг мастер клал массу и руками точил посуду.

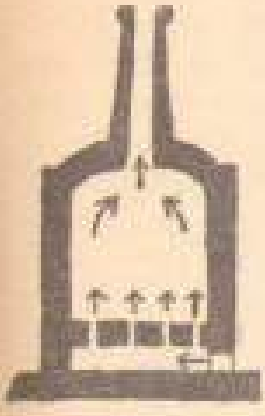
Теперь токарный станок приводится в движение электричеством. Сначала лепщик лепит из простой глины или воска модель тарелки или чашки. Потом с модели снимают гипсовую форму. Тарелку или чашку заливают гипсом с внутренней стороны. Когда гипс затвердеет, его снимают, и оказывается, что на его поверхности отпечаталась внутренняя форма чашки или тарелки, только в обратном виде. То, что внутри чашки было выпукло, — на гипсовой форме вышло вогнутым.



Гипсовую форму кладут на токарный станок донышком кверху. Потом берут тонкий блин фарфоровой массы и плотно накладывают его на форму. От этого на фарфоровой массе опять отпечатываются все выпуклости и впадины, которые есть на гипсовой форме, только опять в обратном виде. То, что на гипсовой форме вогнуто, — на фарфоровой массе выходит выпуклым. Значит, фарфоровая масса теперь точно повторяет внутреннюю поверхность первой модели, с которой была снята гипсовая форма.

Чтобы у тарелки или чашки внешняя поверхность была такая же, как у модели, по модели вырезают шаблон. Это — пластинка из дерева или цинка. Ее вырезы точно повторяют внешние очертания, изгибы и выступы (профиль) модели. Эту пластинку неподвижно укрепляют на рычажке над токарным кругом.

Когда станок вертится, масса, положенная на гип-

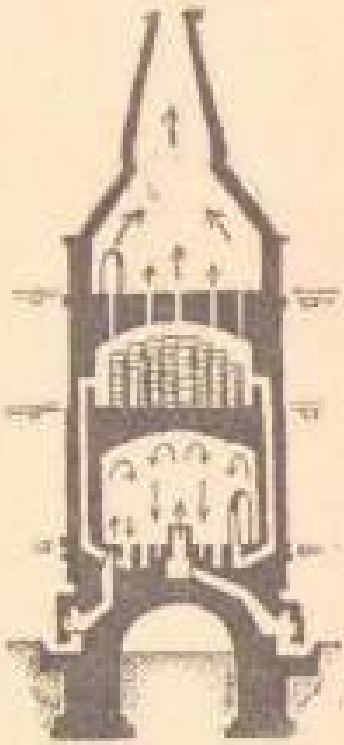


совую форму, прикасается к шаблону, и его края снимают ненужные слои массы там, где должен быть желобок, и оставляют ее там, где на тарелке или чашке должна быть выпуклость.

Мастер, направляя шаблон, обрабатывает внешнюю поверхность сосуда. Когда тарелка или чашка выточена, гипсовую форму снимают со станка. Масса подсыхает, и ее осторожно снимают с формы.

Теперь у нас уже готова настоящая тарелка или чашка, только она еще очень хрупкая, потому что масса еще не обожжена. Ее обжигают первый раз при небольшом огне — в 800°. От этого огня масса становится розоватой. Теперь нашу тарелку или чашку надо покрыть глазурью. Глазурь делается из каолина, кварца, шпата и мела, размолотых в мелкий порошок и разведенных водой. В эту мутно-белую глазурную жидкость окунают сосуд. Вода быстро высыхает, а на стенках сосуда остается тонкий слой глазури. Он заблестит после обжига.

Печь, в которую заглядывал когда-то д'Антрекольль, была „лежачая". Топка была устроена в одном ее конце, и огонь шел по печи в другой конец, где была труба. Бёттер и Виноградов строили „стоячие" печи. Топка была в самом низу печи, и огонь поднимался в печи прямо вверх, в трубу, устроенную над топкой.



Теперь печи строят с „обратным пламенем". Несколько топок с разных сторон одновременно бросают пламя внутрь печи. Пламя поднимается вверх, ударяется в кирпичный верхний свод, падает вниз и сквозь отверстия в полу печи выходит в кирпичные трубы, устроенные в стенках печи. По этим трубам оно поднимается во второй этаж печи, оттуда в третий и наконец по большой трубе выходит наружу.

В первом этаже жар бывает самый сильный — 1300° или 1400°. Здесь обжигают глазурованную посуду. Во втором этаже, где жар слабее, обжигается еще не глазурованный фарфор и прокаливаются шпат и кварц, а в третьем — особо тонкий неглазурованный фарфор.

Посуду перед обжигом заключают в глиняные коробки — капсели. Рабочие входят в печь и устанавливают одну капсель на другую высокими столбиками. Между столбиками оставляют место для прохода пламени.

Когда все капсели поставлены, дверь в печь закладывается кирпичами и замуровывается простой глиной. Только на высоте человеческого роста оставляют в ней окошечко — „глазок". В это окошечко вмазывается кусок слюды.

Потом начинают топить печь.

Обжиг фарфора — дело трудное. Недаром китайцы хранили обжиг в тайне, и мандарин не допускал д'Антрекколля к печам.

— Что же тут трудного? — спросит иной читатель. — Нужно только нагреть печь до той температуры, при которой каолин сплавляется со шпатом и кварцем, — и дело с концом.

А как узнать, какая температура в печи? Никто не посоветует вам всунуть в печь руку с градусником. И руке и градуснику придется плохо. Ртуть закипает при 360°, а фарфор обжигается при 1400° Цельсия.

Однажды холодной ночью кошка забралась погреться в третий этаж горна, улеглась между капселями и уснула. А горн был уже загружен посудой. Утром рабочие замуровали дверь и начали топку.

Обжиг кончился, печь остыла, горновые стали выбирать посуду из печи. Смотрит — а на полу лежит маленький обугленный череп.

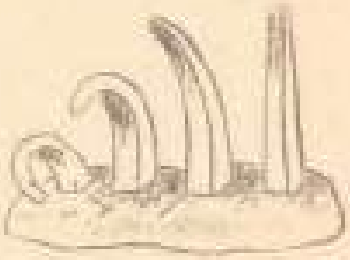
Это произошло в третьем этаже горна, где температура бывает 800°. А если бы кошка забралась в первый этаж, где жар еще больше, — так и черепа не осталось бы, он сгорел бы начисто.

Жар в горне так велик, что раскаленные кирпичи, капсели, фарфор — всё светится, сияет ярким, нестерпимым пламенем. У д'Антрекколля сразу полились слезы, едва он взглянул в печь.

Китайцы проделывали в своде печи маленькие окошечки и прикрывали их черепками. Обжигальщик влезал на печь, просовывал в окошко железную палку и сдвигал крышку с верхней капсели. Если фарфор синел молочно-белым светом, — пора было кончать топку.

Обжигальщик прикрывал лицо от жара глиняным щитком. Железная палка жгла ему ладонь. А вдруг он уронит палку на раскаленный фарфор? Вдруг у него в глазах пойдут зеленые круги, и ему привидится невесть что?

Неверное это было дело — измерять температуру на-глаз. Теперь мы иначе измерим температуру в фарфоровой печи.



Внутри печи перед слюдяным окошечком, поставлены пироскопы. Это — маленькие белые конусы или пирамидки из фарфоровых масс. Каждый конус плавится при особой температуре. Они похожи на фарфоровые пальцы, торчащие вверху.

Когда печь топится, обжигальщик поглядывает в глазок. Вдруг он замечает, что один фарфоровый пальчик согнулся. Это значит, что температура в печи дошла до того градуса, при котором этот конус должен расплавиться. Если конус сделан из массы, которая плавится при 800°, — значит, температура в печи 800°.

Смотрит обжигальщик в глазок и видит — загнулся еще пальчик, который плавится при 1000°, а вот и тот пошатнулся, который при 1200° сгибается.

Так узнает обжигальщик, какая температура в печи.

Но и этот способ несовершенный.

Поставленные в середину печи конусы неясно видны в окошечко. Их застилает дым. Обжигальщик может ошибиться. Глаза утомляются и слезятся, глядя на пламя.

Лучший измеритель температуры в печи — пирометр. Две проволочки из разных металлов спаяны концами. Когда проволочки нагреваются, в узелке спая возникает электрический ток. Ток бежит по проводу к гальванометру и отклоняет стрелку гальванометра. Чем выше температура, тем сильнее ток, тем больше отклонится стрелка.

Проволочки заключены в огнеупорную трубку и просунуты внутрь печи. А гальванометр может находиться где угодно, хоть в кабинете инженера, в другом этаже. Его стрелка верно и точно отметит температуру в печи. Не нужно заглядывать в окошечко горна, не нужно даже подходить к печи — достаточно посмотреть на стрелку гальванометра.

Но знать, какая температура в печи, — это еще не все. Гунгер тоже по-своему следил за температурой, и у него посуда выходила то желтая, пузырчатая, то закопченная, словно посыпанная углем.

И у нас выйдет такая, если мы не знаем главного секрета обжига.

А секрет этот — в горении топлива.

Дрова, сгорая, превращаются в уголь. Если в топке много воздуха, — уголь сгорает начисто, без дыма и копоти. Если воздуха недостает, — частички угля не сгорают, они вылетают в трубу вместе с нагретым воздухом. Из трубы валит черный, густой дым.

Если мы пустим много воздуха в топку фарфоровой печи, у нас будет окислительное пламя, то есть горение произойдет при излишке кислорода.

При окислительном пламени все топливо расходуется без остатка, зато от излишка воздуха может пожелтеть и вспузыриться фарфор.

Если мы закроем доступ воздуха в топку, горн наполнится дымом, несгоревшие частицы угля понесутся в трубу. Такое пламя называется восстановительным.

При этом пламени расходуется много лишнего топлива, а посуда может выйти из огня закопченная, словно посыпанная угольной пылью.

Как же быть? Нужно давать в топку ровно столько воздуха, сколько требуется для горения, не больше и не меньше — без излишка и без недостатка. Такой огонь называется нейтральным.

Обжиг ведут так: сначала дают окислительный огонь, пока температура не поднимется до 800°. Потом переходят на восстановительный огонь. Когда температура поднимется до 1200°, начинают регулировать подачу воздуха, чтобы огонь стал нейтральным.

В прежнее время обжигальщик выскочит бывало на двор, поглядит на дым из трубы, какой он — черный

или желтоватый, струится он или поднимается клубами, — и бежит обратно к топке.

— Митька, открывай заслонку! — кричит он подручному.

У печи — жара невыносимая. Обжигальщик и сапоги скинул и ворот расстегнул. Выскочит на мороз — так даже дыхание сопрется. А с мороза — опять в жару.

Вредное это было дело, и работа неважная — наглазок.

Теперь за огнем в горне следит удивительный умница — аппарат „Дуплекс-Моно".

Небольшой черный ящик висит на стенке. Раскройте этот ящик, — в нем стеклянные трубочки, резервуары с жидкостью — целая лаборатория. „Дуплекс-Моно" высасывает из горна раскаленный воздух, охлаждает его и анализирует его состав, как самый лучший химик. Он не только анализирует, он записывает тут же на бумагу, какое количество углекислоты содержится в эту минуту в горновом огне.

Взглянет на эту запись сотрудник, ведущий обжиг, и сразу увидит: сгорает ли топливо целиком, не надо ли подбавить воздуха в топку? Он скажет по микрофону свое распоряжение истопнику, а тому горя мало, — подбросил дрова в топку, прикрыл или приоткрыл заслонку, и жди следующего распоряжения.

Сотрудник, ведущий обжиг, сидит в кабинете. Его окружают верные помощники — пирометр, „Дуплекс-Моно", часы, микрофон. Его дело — следить за аппаратами и внимательно слушать, что они ему говорят. Они доносят ему обо всем, что творится в печи. Ни дым, ни огонь теперь не испортит фарфор.

После обжига печь остывает два-три дня. Потом дверь размуровывается, из печи выносят капсели, открывают их и вынимают фарфор.

Тогда посуда поступает в живописную мастерскую. Фарфоровые, или „огненные", краски, как их называл Виноградов, делаются из окислов металлов. Окислы железа дают желтые и красные краски, медь дает зеленые, кобальт — синие, марганец — фиолетовые.

Все другие краски — не металлические — не выдерживают огня при обжиге. Они выгорают.

Фарфоровые краски мелко растирают, подбавляют к ним стекловидный, легкоплавкий порошок — флюс,

разводят их на скипидаре и кисточкой наносят на фарфор. При живописном обжиге в 800° флюс расплавляется и, проникая в краску, прикрепляет ее к поверхности фарфора так, что краска блестит и уже никогда не отмоется.

Это — надглазурная, или муфельная, живопись. Но можно расписывать фарфор иначе, до того как его покрыли глазурью и обожгли в горне.

На необожженную посуду краска наносится пульверизатором-распылителем, а не кисточкой. Д'Антреколль видел, как китайцы-живописцы „обдували" свои вазы краской, дуя в трубочку с чашкой на конце. В чашке и была краска, растертая в порошок. Теперь краску распыляют при помощи сжатого воздуха, проведенного по трубам в мастерскую.

Покрыв фарфоровую вещицу краской, ее глазуруют и обжигают в горне.

Подглазурные краски выдерживают еще больший огонь — 1200—1400°. Таких красок немного. Некоторые из них делаются из ценных металлов: розовая — из золота, черная — из иридия. Подглазурная живопись дороже муфельной.

СЕГОДНЯШНИЕ ЧУДЕСА

В заводском музее вам покажут вещи, которые бывало приводили в восторг дам-посетительниц. Дамы закатывали глазки, утирали слезы умиления кружевным платочком и нежно всхлипывали:

— О, какая красота!

Вам покажут белый фарфоровый букет. Цветы разложены узором на голубой пластине. Розы, георгины, гвоздики сделаны в натуральную величину. Просвечивают жилки на лепестках, вокруг пестиков трепещут нити тычинок.

Мастер Иванов трудился над этим букетом чуть ли не всю жизнь. Он унес в могилу тайну букета. С тех

пор никому не удавалось сделать так тонко фарфоровые цветы.

Потом вы увидите большую статую из матового фарфора. Это — „Офелия", работы Каменского. Вам скажут, что это — самая большая статуя, которую когда-либо сделали из фарфора в России. Она ростом с человека.

Вам покажут также балерину, стоящую на одной ножке на самых кончиках пальцев, и объяснят, что эту фигурку неимоверно трудно обжечь. Ножка то гнется, то трескается в обжиге.

Все это — вчерашние чудеса. Все эти вещи было трудно сделать — не легче, чем исполнить заказы богдыханов.

Сколько стараний приложил мастер Иванов, чтобы собрать свои цветы лепесток к лепестку! Тычинки из фарфоровой массы, верно, крошились у него в руках.

Сколько тяжелых „Офелий" пришлось перетаскать в горн, пока добились, что хоть одна статуя вышла без трещины! Сколько балерин выбросили в лом из-за погнувшейся ножки!

Невольно спросишь: а стоило ли так надрываться?

Для красоты? Полно, красиво ли это?

Цветы из шелка или бумаги были бы всё же нежнее фарфоровых цветов. Большие статуи хороши из мрамора или алебастра. Балерину на одной ножке легко отлить из бронзы.

Зачем нужно было делать все эти вещи из фарфора?

Затем, что из фарфора их сделать труднее всего.

Люди заставили фарфор подделаться под другие материалы. А ведь каждый материал красив, если он похож сам на себя. Китайцы и старые русские мастера понимали это. Их фарфор — белый, блестящий, его формы плавны и округленны. Он красив.

А эти „вчерашние чудеса" не похожи на фарфор. Фарфору придали формы, которые ему несвойственны, и он до сих пор бунтует против этого насилия.

Фарфоровый букет приходится хранить под стеклянным колпаком на особом рессорном столике. Любое сотрясение пола может повредить фарфоровым тычинкам. Ножка балерины отламывается от пьедестала, если мимо завода проедет тяжелый грузовик. „Офелию" приходится мыть горячей водой с мылом, потому что

неглазурованный фарфор вбирает в свои поры пыль и становится серым.

Фокус — не искусство. Очень трудно, например, писать ногой. А есть такие фокусники — зажмут перо пальцами ноги и пишут. От этого они еще не делаются писателями.

Теперешние художники не занимаются фокусами. Их фигурки стоят на двух ногах и не ломаются, не трескаются в обжиге. Художники показывают людям свойства фарфора — его белизну, блеск, плавность форм.

Перед художниками завода стоят иные трудности — те же, какие преодолевает все советское искусство. Нужно сделать вещи, которые выразили бы великую борьбу за нового человека в нашей стране. Нужно сделать вещи простые, красивые и убедительные, нужно запечатлеть в фарфоре образы лучших людей нашего времени.

Вот фарфоровая скульптура: Ленин на трибуне говорит речь. Он в зимнем пальто, с шапкой в руке. Видно, приехал на рабочий митинг или на проводы красных отрядов на фронт гражданской войны. Вся его фигура стремится вперед, глаза смотрят вдаль. Он говорит о грядущей победе социализма во всем мире.

Вот большой фарфоровый бюст его верного соратника, великого вождя трудящихся — Сталина. Рядом с ним бюсты Кирова, Калинина, Ворошилова и Максима Горького. Их черты знают и любят все народы Советского Союза — и пенцы-охотники в далеких северных тундрах и узбеки-хлопководы в своей солнечной стране. Много таких бюстов выпускает фарфоровый завод, а все нехватает. Каждому клубу, каждой школе хочется поставить на видное место бюст любимого вождя, сделанный из твердого, прочного, чистого фарфора.

В советских витринах музеев множество ваз, тарелок, чашек и фарфоровых фигурок. Посмотришь эти изделия — словно прочтешь всю историю нашей родины. Сколько тут нового, интересного, красивого!

Вот две фигурки: рабочий-красногвардеец с винтовкой и матрос с красным знаменем. Такие смелые, решительные люди стояли, верно, на страже у Смольного в историческую ночь на 25 октября 1917 года.

А вот красный партизан идет, шагает по снежным сугробам. Он в овчинном тулупе, в валенках, с самодельным „обрезом" за спиной, но на шапке у него уже блестит красная пятиконечная звезда. Он вступил в

Красную армию и в ее стройных рядах будет сражаться с белыми.

Вот и сам герой гражданской войны — Чапаев. Он мчится на бодром скакуне, бурка его развевается по ветру, на лице — решимость, отвага, воля к победе. Сколько поражений нанес он белым своими смелыми, быстрыми, как вихрь, налетами!

А вот вещи, сделанные в те дни, когда Юденич стоял под Петроградом и в городе было так мало хлеба, что каждую его корку приходилось беречь для бойцов. На тарелке красивая, четкая надпись: „Кто не работает — тот не ест!" Рядом с этой тарелкой стоит фигурка девушки-милиционера с винтовкой за плечом. Такие девушки охраняли тогда революционный порядок в осажденном городе, потому что все мужчины ушли на фронт. С усмешкой поглядывает фарфоровая милиционерка на другую фигурку — на буржуйку с разной рухлядью в руках. Буржуйка завосчиво подбоченилась и задрала голову: меня, дескать, не заставишь работать! Она продает на рынке свои старые юбки, бусы и другие побрякушки.

Трудящиеся Петрограда отразили натиск Юденича — пришлось белому генералу убраться, несолоно хлебавши. Об этом событии рассказывает живопись на вазе: темной ночью идут на фронт красные отряды, ощетинившись ружьями, волоча за собой пулеметы. А вот они возвращаются обратно ясным утром. Они победили. Красные знамена блещут на солнце.

Все эти вещи яркие, блестящие, фигурки выразительные и оживленные. Так и кажется, что они шевелятся за стеклом.

Они не оставляют равнодушным того, кто на них смотрит. На разных людей они действуют по-разному.

На выставке в Брюсселе кучка русских эмигрантов бросилась громить советскую витрину, и нарядные дамы побили зонтиками наши чашки. Видно, рассердили их советские изделия.

А французские работницы, приезжавшие в Ленинград, долго и внимательно рассматривали советский фарфор в музее завода и выбрали себе фигурку — „Работница, говорящая речь". Они повезли эту фигурку в Париж в подарок газете „Работница", которая борется за права трудящихся французских женщин.

Всемирноизвестный физик увез с собой в Англию фигурку — „Работница, вышивающая красное знамя".

Такая же фигурка отправилась на другой конец света в чемодане японского студента, сотрудника рабочей газеты. Французский депутат-социалист увез на родину фарфоровых пионеров. Турецкие делегаты — фигурку женщины, сбрасывающей чадру.

Да мало ли советских фарфоровых фигурок, чашек и тарелок раскидано теперь по всему свету!

Везде и всюду эти хрупкие, блестящие вещицы смело говорят тому, кто смотрит на них:

— К великой борьбе за дело трудящихся всего мира — будь готов!

Художники завода любят свою родину и чтут память великих людей ее прошлого. В музее завода мы увидим изображение прекрасного поэта Грузии — Шота Руставели, фигурки и портреты Пушкина, бюст великого ученого Менделеева.

Но еще интереснее, еще красивее вещи, посвященные великим победам социализма. Вот сервиз — „От тайги до постройки". Живопись на нем рассказывает о том, как в дремучей тайге, на мерзлых болотах советские люди строят фабрики, заводы и новые города — превращают суровый Север в богатую, счастливую страну. На сервизе „Кировск" написаны виды нового чудесного города за полярным кругом.

А вот фарфор, посвященный прекрасным сооружениям советской столицы: сервиз — „Первый метро СССР" и большая ваза — „Канал Москва — Волга".

Блестит голубая вода нового канала, сияют на солнце звезды кремлевских башен.

Другие изделия рассказывают нам о героических подвигах советских людей. Вот сервиз — „Челюскин", ваза — „Северный морской путь", другая ваза —

„Сталинский маршрут" и фарфоровая группа — „Папанинцы". Четыре героя стоят на снежной глыбе, всматриваясь в даль. Пес Веселый тоже тут, насторожился, нюхает ветер. Герои ждут вестей с „Мурмана" и „Таймыра". Над ними развевается красное знамя. Они выполнили сталинское задание — завоевали северный полюс.

Вот большая чернильница, украшенная фигурами, — „Обсуждение проекта Сталинской Конституции в узбекском ауле". Узбеки в полосатых халатах и узорных шапочках сидят кружком на ковре. Они слушают чтение „Правды". Женщина с ребенком на руках тянется поближе к чтецу. Радостно ей слушать о том, что говорится в Конституции о правах женщины. Седой старик задумчиво поглаживает бороду, как бы говорит: „Сталинская Конституция — это мудрый закон, хороший закон".

Растет и крепнет колхозное хозяйство в советской стране. Вот на большой вазе изображен колхозный фруктовый сад. Загорелые девушки снимают с деревьев сочные, румяные яблоки. А вот фигурка — колхозница вышла поутру покормить молодой скот. Жеребенок, теленок и поросята радостно бегут следом за ней.

Не унимаются враги Советского Союза. Они посылают к нам своих шпионов и диверсантов, чтобы повредить делу социализма. Но Красная армия всегда настороже, всегда готова отбить удар.

Вот фарфоровая группа — „Конная разведка". Два красных бойца верхом на конях зорко всматриваются в даль и обсуждают между собой расположение сил противника. А вот еще группа — школьник прибежал на пограничную заставу и рассказывает бойцам, что он видел в лесу нарушителя границы. Бойцы готовят винтовки, зовут собаку, — сейчас они пустятся по следу врага.

Все эти фигурки сделаны просто, без фокусов и ухищрений, сделаны хорошо, потому что заводским художникам дорого дело советского искусства.

Кроме фигурок, сервизов, ваз, завод изготовляет вещи, которые необходимы электростанциям, колхозам, научным институтам.

В цехах завода мы увидим немало таких умных вещей.

Вот на длинных досках стоят рядами, как серые солдатики, маленькие фарфоровые столбики. Каждый — не больше мизинца. По середине столбика — широкий поясок, верхушка сужена. Вид у столбика неказистый.

А без такого столбика не двинется с места ни один автомобиль, ни один трактор.

Это изоляторы для автосвечей.

Мотор трактора, автомобиля, аэроплана работает потому, что в нем непрерывно происходят взрывы. Взрывается газовая смесь и толкает поршень. Вал мотора приходит в движение.

Чтобы произошел взрыв, нужно зажечь смесь. Нужно, чтобы вспыхнула искра и запалила пары бензина или керосина. „Магнето" дает мотору электрический ток, а искру дает автосвеча.

Главная часть автосвечи — фарфоровый изолятор. Он не позволяет току убежать по металлу автосвечи — он заставляет ток дать искру.

Выньте из зажигалки кремень — придется выбросить зажигалку. Выньте из человеческого сердца желудочек, который, сокращаясь, толкает кровь, — придется хоронить человека. Выньте из трактора, автомобиля, аэроплана изолятор — никуда не будет годна машина.

Вот какую важную службу несет маленький серый солдатик.

Он очень вынослив. Ему приходится терпеть и встряску от взрывов, и толчки машины, и жару градусов в шестьсот, и двадцатиградусные морозы. Его делают из особенно прочной массы, в которую вместо шпата и кварца подбавляют тальк. Его обжигают в особых электрических печах. Для него выстроили специальное помещение, где приготовляется особая масса.

Делают автосвечной изолятор так. Машина выдавливает длинные колбаски из желто-коричневой массы. Механический ножичек режет колбаску на равные кусочки. Каждый кусочек — болванка будущего изолятора. Станок пробивает в болванке сквозное отверстие для электропровода. Другой станок в одни мин придает болванке форму изолятора. Три ножичка врезаются в болванку. Вжиг... Только глиняная стружка валится гирляндой под станок. А работница уже ставит обточенный изолятор на доску и берет следующую болванку.

Делают изоляторы быстро, а проверяют и осматривают их медленно, тщательно.

Вышел изолятор чуточку тоньше или толще, чем нужно, — он уже не годится. Он не подойдет к метал-

лическим частям автосвечи, которые делают на другом заводе.

Маленькая трещинка, еле заметный пузырек или плешинка на глазури тоже делают изолятор негодным. Такой изолятор пропустит ток.

Самая серьезная проверка изолятора — испытание электрическим током. Выдержал изолятор это испытание, — значит, он годен.

На заводе мы увидим разные изоляторы — от маленького автосвечного до огромного, чуть не в половину человеческого роста, изолятора для трансформаторов наших новых электростанций. Есть тут и подвесные изоляторы-тарелки, которые, словно серьги-великаны, висят, покачиваются в ушах сквозных железных башен, передающих ток на большие пространства.

Изоляторы всюду и всюду караулят ток, не дают ему убежать от работы, направляют его туда, где он облегчит, ускорит, улучшит труд людей.

Люди научились использовать удивительное свойство фарфора — его диэлектричность, то есть неспособность проводить электричество.

Есть у фарфора и другие ценные свойства. Блестящую, твердую поверхность фарфора не разъедает никакая кислота, кроме плавиковой. Фарфор, как говорится, кислотоупорен. А для чего нам нужна посуда, которую не разъедали бы кислоты?

Прежде всего — для очистки золота. Золото часто находят в руде в виде мельчайших золотых пылинок, вкрапленных в твердую кварцевую породу. Отделить эти пылинки от кварца было бы невозможно, если бы нам не помогала химия.

Химики нашли очень сильную кислоту — цианистый калий. Такая едкая эта кислота, что если человек проглотит хоть крупинку, он сразу же умрет. Цианистая кислота растворяет в себе золото, а на кварц она не действует. Мелко истолченную золотую руду заливают цианистой кислотой. Кислота вбирает в себя все золотые пылинки, „выедает" их из частиц кварца. Тогда получается жидкий золотой раствор, а его уже не трудно отделить от твердых

кусочков руды — слить или процедить. Потом раствор сгущают и добывают из него золото.

Никакие деревянные, глиняные или металлические сосуды не годятся для этой работы. Кислота разъедает всё, растворяет любой металл. В металлическом сосуде золотой раствор получается не чистый, а с примесями, от которых опять приходится очищать золото.

А фарфор не поддается цианистой кислоте. Ведь в его состав входит кварц. Завод делает большие фарфоровые чаны и чаши для очистки золота. Такие огромные делаются здесь чаши, что тяжелые гипсовые формы, в которые заключают эти чаши, приходится поднимать особым подъемным краном.

Из всех кислот только плавиковая кислота разъедает фарфор. Бывает, что живописец отдаст в обжиг свою работу, не заметив, что он оставил на ней какое-нибудь ненужное пятнышко или штришок. Выйдет работа из обжига — как ее исправить? Обожженную краску уже ничем не отмоешь. Тогда живописец берет бутылочку с плавиковой кислотой и, обмакнув в нее обструганную щепочку, осторожно трет кислотой ненужное пятнышко на фарфоре. Кисточкой этого делать нельзя — кислота испортит кисточку. От кислоты идет едкий дымок — щиплет глаза и нос. Пятнышко на фарфоре сначала побледнеет, а потом вовсе исчезнет, съеденное кислотой. На глазури останется мутное, матовое местечко, потому что кислота, растворяя краску, разъест и глазурь. Плавиковая кислота не часто употребляется в производствах, а никакой другой кислоты фарфор не боится.

Для азотной кислоты завод делает большие узкогорлые кувшины. Они называются „турилло".

Для приготовления борной и лимонной кислот, для аспирина, пирамидона и других лекарств здесь делаются фарфоровые котлы с крышками. В таких же котлах при помощи кислот приготовляют разные

краски — для тканей, для окрашивания домов, автомобилей, трамваев и др.

А сколько кислотоупорной посуды требуется химикам в наших лабораториях, где каждый день делают анализы при помощи кислот! Завод вырабатывает разные чаши, чашки с утиными носами, лодочки, мензурки, воронки, трубки для стока кислот, которые употребляются в лабораториях.

Ломоносов писал когда-то:

В земное недро ты, химия,
Проникни взора остротой...

В наше время химия проникла в земное недро. Советские лаборатории исследуют, анализируют, пробуют новое сырье, металлы, минералы, которые приносят им разведчики со всех концов Союза. Каждый день открывает новые богатства в недрах нашей страны. Лаборатории работают на фарфоровой посуде Ломоносовского завода.

Завод делает и большие тигли и маленькие тигельки величиной с наперсток. В них можно выпаривать любую жидкость на большом огне. Это свойство фарфора — его огнеупорность — знал еще Бётгер. Он искал огнеупорную массу для своих тиглей и нашел красную фарфоровую глину.

У нас на производствах уже ставят фарфоровые котлы, а скоро и в домах заведутся блестящие коричневые кастрюли из керамических масс, чистые, нержавеющие, не требующие полуды.

Фарфор заменяет металл. На Ломоносовском заводе мы увидим электрические утюги и чайники, дверные скобы и вешалки из керамических масс, фарфоровые радиаторы для парового отопления, фарфоровые трубы, трубки, трубочки. Одни трубки длиной почти в 2 метра, другие — маленькие, тоненькие, диаметром в 0,35 миллиметра.

Длинные трубки — для пирометров, измерителей температуры в печах. В такую трубку заключают термопару — пару проволочек из разных металлов, между которыми возникает электрический ток. Фарфоровая

трубка, заключающая термопару, вставляется, вмазывается в печь. Чем толще стенка печи, чем дальше от ее края надо измерить температуру горна, тем глубже вставляется термопара, тем длиннее должна быть фарфоровая трубка. Она защищает термопару от огня.

Сквозь маленькие, тоненькие трубки вытягивают тончайшие проволочки-волоски для электрических ламп.

Эти трубки по тонкости не уступают цветочным тычинкам мастера Иванова. Они даже перещеголяли эти тычинки, потому что в каждой из них — два сквозных отверстия для проволочек. Отверстия еле видны глазом, их диаметр — 0,1 миллиметра.

Есть у фарфора еще одно ценное свойство — чистота. Вспомните феодалов, которые предпочитали есть на фарфоровых блюдах, чтобы не положить в рот какой-нибудь гадости вместе с пищей, поданной на темной металлической посуде.

Это свойство не забыто и сейчас. Мы тоже хотим есть на чистой фарфоровой посуде, в наших лабораториях чистота — первое условие работы. Нам хочется и самих себя держать в чистоте.

А вот зубы портятся. Гнилой зуб загрязняет весь рот. Его нужно вырвать. А без зубов трудно жевать.

Фарфор и тут приходит на помощь. Фарфоровые зубы чище и крепче, чем металлические, а по виду они ничем не отличаются от настоящих зубов.

Можно делать зубы всех оттенков — желтоватые, синеватые и молочно-белые. Они похожи на ракушки „яо", которые Марко Поло привез из Китая. Для них делают особую массу, их обжигают в особых электрических печках.

Прежде фарфоровые зубы привозились из-за границы. Состав зубной массы на Западе держали в тайне. Но советские керамисты открыли этот секрет.

Так хорошо работал зубной цех Ломоносовского завода, что из него сделали особую зубную фабрику, которая теперь работает самостоятельно. Эта фабрика — родное детище Ломоносовского завода.

Вот как работает Ломоносовский завод, бывшая „фарфоровская богадельня". Он участвует во всей жизни страны. Ни одна отрасль промышленности не обходится без фарфора.

На дворе завода, там, где в годы гражданской

войны над кучами обледенелых дров торчал забытый чугунный бюст Елизаветы, — теперь стоит новый трехэтажный корпус. Его высокие стены прорезаны огромными четырехугольниками окон. Старые корпуса завода как будто приникли и покривились от соседства с новым, стройным зданием.

В новом здании — светло, просторно, тепло. Здесь приготовляют особенно тонкую массу для тоненьких фарфоровых трубочек.

В художественной лаборатории работают художники. Скульпторы лепят новые модели фигурок, живописцы делают новые рисунки для росписи ваз и сервизов. Они придумывают новые формы посуды, удобной, чистой и дешевой — для общественных столовых. Они изобретают новые способы украшения фарфора красками, золотом и лепкой.

Когда изобретение проверено в лаборатории, его передают на производство. Но и в цехах работники лабораторий не спуская глаз следят за выработкой изделий.

Все должно быть проверено, сосчитано, проконтролировано в новом, социалистическом производстве.

Старой, расхлябанной работе „на-глазок", да „на-авось", да „спустя рукава" пришел конец.

Китайский секрет перестал быть секретом.

Кусочки драгоценного „ко" работают нам на пользу. В каждом выключателе, который вы рассеянно поворачиваете, зажигая свет в своей комнате, есть фарфоровая пластинка. Наливая чай в звонкую чашку и глядя на борозды, которые проводит трактор по колхозному полю, и прислушиваясь к гудению телеграфных столбов, обвешанных изоляторами, как стебель колокольчика цветами, вспоминайте о том долгом пути, который прошел фарфор, прежде чем стать нашим помощником в строительстве нашей страны.

ОБ ЭТОЙ КНИГЕ

Многие читатели спрашивают: что в этой книге правда, а что выдумано автором?

Жили ли на самом деле Бёттер и д'Антрекольль? Существовал ли город Кин-те-чен и почему его нет на географической карте?

Если Виноградов жил на самом деле, то почему фарфоровый завод зовется Ломоносовским, а не Виноградовским?

Откуда автор узнал все, о чем говорится в книге?

Один мальчик написал мне: „Если книга будет опять печататься, пусть автор расскажет в предисловии, как он ее писал и что было для этого ему нужно".

Все, о чем рассказано в этой книге, было на самом деле. О жизни китайцев в XVIII веке я узнала из трудов английских и французских ученых. Я читала письма д'Антрекольля к отцу Орри, в которых он описал Кин-те-чен и фарфоровые фабрики. Но хитрый монах не рассказал своему начальнику, как ему удалось выведать подробности о выделке фарфора, проникнуть к печам и подсмотреть обжиг. Мне пришлось рассказывать за него.

Кин-те-чен существовал почти девятьсот лет. Он находился в восточном Китае, в провинции Цзяньси, на берегу реки Чинг, впадающей в озеро По-ян-ху с северо-востока. Лет семьдесят назад в том краю вспыхнуло восстание. Войска, усмирявшие мятеж, превратили город Кин-те-чен в груду развалин. Потому-то этого города нет на карте.

Главные события в жизни Бёттера рассказаны мной так, как они были на самом деле. Биографию Бёттера

я прочла в книгах немецких историков фарфора. Но о смерти Бётгера историки говорят по-разному. Одни думают, что он умер в тюрьме, приговорённый к виселице, другие уверяют, что он скончался дома, на своей постели, осыпанный благодеяниями доброго и терпеливого короля Августа. Я больше верю первым историкам.

В главе о Виноградове — почти всё правда. Конечно, я не ручаюсь, что Митя Виноградов дрался в Марбурге со студентом по имени Отто. Может быть, он колотил Карла или Фрица. Но письма Вольфа, Гунгера, Виноградова, приказы Черкасова, сведения о выделке порцелина и жизни рабочих — подлинные документы. Они хранятся в архивах. Автор изучил эти документы.

„Крыс", портивших первую советскую посуду, я видела сама, и слова т. Луначарского о новом фарфоре сама слышала, потому что тогда я работала на заводе. Я расписывала чашки и фарфоровые фигурки в живописной мастерской, заглядывала и в другие цеха завода.

Завод назван Ломоносовским вот почему. Когда Академия наук праздновала свое двухсотлетие, фарфоровцы поднесли ей большое блюдо своей работы и просили, чтобы заводу было дано новое название в честь юбилея Академии наук. Тогда было решено назвать завод именем Ломоносова в честь первого русского академика, вышедшего из народа.

Как видите, для того чтобы написать эту книгу, нужно было прочесть уйму книг на четырех языках — о монахах, о рыцарях, об алхимиках, о китайцах и о русских царицах; нужно было порасспросить многих людей, нужно было автору самому многое видеть, и поработать на фарфоровом заводе, и побродить по Шлиссельбургскому тракту, отыскивая следы старины и думая о прошлых временах.

Следы старины нелегко найти. Их почти нет. На том месте, где Виноградов переплывал Неву в лодочке, выстроен теперь большой красивый мост. В тени прибрежных ракит уже не причется дряхлая фарфоровская церквушка. Там раскинулся пышный зеленый сад. Вдоль берега, где прежде, кряхтя и посапывая, ползал паровичок, теперь шустро бегают трамваи.

Все изменилось за Невской заставой. Только Нева течет попрежнему; над плоским мысом, как встарь, встает по вечерам круглая луна, да каменные сфинксы, как встарь, стерегут бироновский дворец.

Вот если бы автору увидеть своими глазами все, что видели эти сфинксы! Бывало подкатывала к ним золоченая карета, из нее выходил нахмуренный вельможа, стучал красным каблучком по каменным ступеням. Потом бродил здесь Дмитрий Виноградов, обдумывая рецепты фарфоровой массы. Потом пробегал здесь Бабушкин, пряча под курткой революционные листки. Наверное проходил здесь Владимир Ильич Ленин.

Одряхлели эти сфинксы, пошатнулись их подножья, каменные лица почти стерлись от времени. А в старом дворце уже не трактир, а читальня имени Н. К. Крупской.

Раздумывая над этими каменными сторожами дворца, автор мысленно переносился в прошлое. Автор переживал с Бёттгером его гибель, с Виноградовым — его страшную судьбу и радовался, что те жестокие, темные времена прошли.

Прошли и не вернутся никогда.

Так была написана эта книга.

ОТ РЕДАКЦИИ

Книга Е. Данько „Китайский секрет" была написана около двадцати лет назад. С той поры завод имени Ломоносова выпустил много художественных изделий из фарфора, которые прославили марку ленинградского завода не только по всей нашей стране, но и далеко за ее пределами.

В годы Отечественной войны завод вынужден был прекратить свою работу, фронт подошел к Ленинграду и остановился в нескольких километрах от Невской заставы.

Завод, подобно многим промышленным зданиям на окраинах, превратился в крепость, заводские живописцы, лепщики, токари сменили орудия своего ремесла на винтовки и автоматы. В эти дни многие ломоносовцы отдали жизнь, защищая свой город, свой завод и свое искусство.

Наш народ победил. И вот в канун 2-й годовщины дня Победы, 8 мая 1946 г., в Москву прибыла делегация рабочих ленинградского фарфорового завода им. М. В. Ломоносова. Делегация привезла подарок генералиссимусу Советского Союза товарищу Сталину. Это была ваза „Победа" — великолепное изделие из фарфора.

Два года работали фарфоровцы над этой вазой. Замысел вазы „Победа" сложился еще в то время, когда недобитый враг яростно сопротивлялся под Псковом, под Оршей и на полях Молдавии.

Вот описание этой вазы:

„...Эта монументальная, художественная ваза не имеет себе равных в мире. Высота ее 2,5 метра, диаметр — 71 сантиметр.

„...Художественно выполнена роспись вазы „Победа". В центре вазы — портрет творца победы генералиссимуса Советского Союза товарища Сталина. Портрет обрамлен золотым лавровым венком. На противоположной стороне изображена картина салюта в Ленинграде на Неве 9 мая 1945 г. Внизу вазы помещены шесть медальонов, отображающих эпизоды Великой Отечественной войны. На золотых листах начертаны слова из обращения товарища Сталина 9 мая 1945 года: „Великая Отечественная война завершилась нашей полной победой", „Слава нашему великому народу, народу победителю!" На ножке вазы — гравированные на золоте две группы, символизирующие содружество советского фронта и тыла в дни войны".

„Портрет товарища Сталина исполнен художником А. А. Скворцовым..."

„...Ваза подвергалась четырехкратному обжигу. С этой целью была сконструирована особая электрическая печь. Обжиг производился по специально разработанному графику, чтобы не по-

трескался фарфор и краски получились живые и сочные".

11 мая 1946 года ваза была установлена в одном из залов Третьяковской галерен в Москве.

Товарищ Сталин поблагодарил коллектив Ломоносовского завода такими словами:

„Приношу благодарность руководителям и коллективу ленинградского фарфорового завода имени М. В. Ломоносова за выдающееся произведение, созданное в ознаменование победы над фашистской Германией, — художественной вазы „Победа". Желаю вам дальнейших успехов в вашей работе".

Автор книги „Китайский секрет" Е. Данько не дожила до этих праздничных дней, она умерла в годы Отечественной войны.

Как радостно было бы ей закончить свою книгу рассказом о том, как работали ломоносовцы над этим величайшим произведением фарфорового искусства — вазой „Победа"!

ОГЛАВЛЕНИЕ

Глава первая

ЗАГАДКА

Яо 3
Селадоны 7
Яичная скорлупа и ракушки 9
Искусственный порселен 10
Поиск солдат за китайские вазы 11

Глава вторая

ХИТРЫЙ МОНАХ

Отец д'Антрекколь 15
Город Кин-те-чен 16
Мандарин 19
Фарфоровые чудеса 20
Трудные заказы 22
Као-ани и пе-тун-тсе 24
Кукольный театр 25
В мастерских 28
Четыре сокровища мудрых 29
Живописцы 30
Глиняные коробки 32

Глава третья

КОРОЛЕВСКИЙ АЛХИМИК

Берлин в волнении 39
Алхимики 41
Опасное занятие 42
Гонцы поскакали 44
Похищенный студент 45

Дом с гербом 46
Математик Чирнхауз 47
Барон Шрадер 48
В капкане 49
Волшебная тинктура 50
Непочтительная левретка 50
Отсрочка 51
Призрак виселицы 52
Август требует золота 53
Замок Альбрехтсбург 54
Господин с тремя лакеями 55
Нотус 56
Мудрый советчик 56
Химик Иоганн Бёттер 57
Красная посуда 58
Победа 59
Смерть Чирнхауза 60
Пудреный парик 62
Подобный цветку нарцисса 64
Игра 66
Тюрьма или фабрика 67
Искусители 69
Зеркало 71
Донос 74
Снова тюрьма 76

Глава четвертая

ФАРФОРОВЫЙ ЗАВОД ВЕСЕЛОЙ ЦАРИЦЫ

Слухи о Петре 79
Городок Санкт-Питер-Бурх 82
Три студента 84
У профессора Вольфа 87
Прокламации 88
Отъезд 90
Генкель 91
Минералогический кабинет 93
Первая ода Ломоносова 94
Кипа кружев 98
Молодые ученые 100
Шут 102
Барон Черкасов 104
Гжель 105
„Мыленка" и „песчанка" 106
Дорога 107
На кирпичных заводах 108
Ссора 110
Арканист-неудачник 112
Победа химика 113
„Кибиточки любовной почты" 119
Фигурка Атласа 120

Глава пятая

ЗА НЕВСКОЙ ЗАСТАВОЙ

О чем рассказывает старый фарфор 125
Школа на Шанссельбургском тракте 129
Фарфоровцы 131

Глава шестая

ЗАВОД ИМЕНИ ЛОМОНОСОВА

Серп и молот на фарфоре 137
Как теперь делают фарфор 142
Сегодняшние чудеса 150

Об этой книге 164

От редакции 167

ИЗДАНИЕ СЕДЬМОЕ
(сокращенное)

Для среднего и старшего возраста

Редактор Л. Джалалбекова. Художн.-редактор Н. Полозов. Техн. редактор Н. Суслянникова. Корректор И. Кнохе. Подписано к печати 18/VI 1948 г. М 08058. Тираж 30 000 экз. Печ. л. 10¾. Уч.-изд. л. 8,6. Заказ 2892. Кол. тип. знаков в 1 печ. л. 35 776.

2-я фабрика детской книги Детгиза Министерства Просвещения РСФСР

1503 ч/р

1965

11707

Цена 6 р. 50 к.

Н